Сергей Вахрин

ПОТОМКИ ОСТРОКЛЮВОГО БОГА
(Камчадалы)



Посвящается жене Татьяне,

сыновьям Алексею и Андрею, дочери Юлии,

внукам Денису, Артуру, Ярославу и Льву -- потомкам

казака Усова — одного

из первых жителей

г. Петропавловска-Камчатского

КАМЧАТСКИЕ ФАМИЛИИ

В 1984 году в газете «Камчатская правда» был опубликован большой цикл моих материалов «Камчатские фамилии», на основе которых и родилась впоследствии эта первая книга из цикла «Тайны камчатских имен» — «Потомки остроклювого бога (Камчадалы)», которую мы сегодня не только переиздаем, но и наполняем новым содержанием.

История Камчатки через истории камчатских династий — вот главная идея этой книги, как и тех давних моих публикаций. Сопричастность камчадалов и камчатцев к истории своей земли, к прошлому и настоящему полуострова, в частности, и России, в целом, осознание собственных исторических корней.

Книга не претендует на полноту освещения тех или иных исторических событий и фактов, на воссоздание всех ветвей генеалогических корней камчатских фамилий — только разве что небольшой какой-то части, да и то это только в отдельных очерках.

Поэтому, конечно же, кому-то из потомственных камчадалов будет обидно — а чем история других династий хуже или неинтереснее тех, о которых рассказано в этой книге.

Не стоит обижаться. Объять необъятное в одной книге невозможно.

Но возможно другое — подтолкнуть обиженного читателя (в данном случае заинтересованного потомка) к интереснейшей работе по изучению истории своего рода, истории родной земли, исторической родины своих предков.

Это может быть и совместная (а я уже веду работу над большим проектом «Камчатской родословной книги» с иллюстрациями известных камчатских фотохудожников), и самостоятельная работа (представители многих камчатских династий уже не только по крупицам собирают историю своей семьи, но и издают об этом новые книги).

И вот что удивительно: начиная распутывать самые первые узелки исторической нити своего рода, вы столкнетесь с тем, как крепко-накрепко переплелись между собой камчатские династии за последние три века, когда русские казаки, крестьяне и промышленники пришли в земли коряков, камчадалов (ительменов) и курилов (курильцев) обживать восточные окраины Российской империи.

Русские передали аборигенам не только свой промысловый и земледельческий опыт, свою культуру и письменность, но и свои фамилии.

Крестными отцами для камчадальских вождей и воинов после кровавых битв стали казаки — землепроходцы и их атаманы — Кузнецовы, Расторгуевы, Колеговы, Атласовы, Слободчиковы, Заевы, Пермяковы, Дьяконовы, Краснояровы, Пановы, Антоновы, Новограбленные, Лукашевские, Сторожевы, Ягановы, Беккеровы, Суздаловы, Уваровские, Бобровские…

А с открытием морского пути в Камчатку — мореход Бутин, матросы Сметанин и Петров, ботовой мастер Спешнев, морской офицер Хметевский…

И конечно же священнослужители — Хотунцевский, Климовский, Никифоров, Притчин, Коллегов, Логинов, Правоверов, Лазарев, Ласточкин, Волков, Чуркин, Мохнаткин…

А так же купцы — Трапезников, Красильников, Шелковников…

Ссыльные — Сновидов и Запороцкий…

То есть за триста лет крестные и крестники, точнее их потомки, перероднились между собой не только духовно, но и кровно. И смело можно утверждать, что жители дореволюционной Камчатки (может быть, за исключением в какой-то части города Петропавловска-Камчатского) — это представители одной огромной семьи. И в этом, на мой взгляд, нет ничего удивительного.

Давайте сделаем совсем небольшой экскурс в историю. И начнем с самого начала. С прихода первых россиян.

Как правило, это были холостяки. А женились они на «местных» — камчадалках.

Население Камчатки в XVIII-XIX веках (опять же без Петропавловска) составляло не более десяти тысяч человек, или полторы-две тысячи семей. Поэтому вероятность того, что за эти триста лет все семьи смогли переродниться, очень высокая. Семьи по тем временам были большие, так что, уверяю вас, будет весьма интересно проследить родовые связи.

Я об этом говорю, чтобы еще раз выделить главное: история любой камчатской династии — это, в конечном итоге, история Камчатки, ее народа. И терпеливый исследователь получит самый благодатный материал об отношении своих дальних и близких родственников — камчадалов — к самым важным страницам летописи нашего полуострова.

И тогда не будет обиженных — и ни одна фамилия представителей камчатских династий не будет забыта.

Эта книга после своего выхода в 1997 году уже стала началом для большого коллективного труда по истории Камчатки — истории, которую пишут представители коренной Камчатки.

Затем появился новый цикл книг и фотоальбомов – «Тайны камчатских имен».

А теперь мы приглашаем всех желающих принять участие в новом нашем проекте – «Камчатская родословная книга».

Переиздание книги «Потомки остроклювого бога (Камчадалы)» представляет нам возможность заново увидеть историю Камчатки через историю отдельных камчатских фамилий, эту историю творящих…

Автор

КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ…

«Черный ворон, черный ворон,
Что ты вьешься надо мной?»
Из старинной казачьей песни

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА В РОДОВОЙ ПАМЯТИ ПОТОМКОВ



Сергей Дурынин. Русский дух.

Замечательный российский родовед Валерий Владимирович Бибиков, президент Союза Возрождения Родословных Традиций написал очень верные слова: «…каждый из нас своими чертами характера во многом обязан своим

родителям, воспитанию, которое мы от них получили, а наша судьба зачастую предопределена многовековой историей всего рода».

Наша современная отечественная история, как и история отдельных современных семей, династий, родов построена на обломках великой империи, которая называлась Советский Союз.

Но мало кто задумывается об исторической параллели, связанной с крушением другой империи, которая простиралась когда-то от Атлантического до Тихого океана и, еще в XIX столетии, была обозначена на картах многих иностранных государств и носила неизвестное в истории России название – Grand (или Megalion)Tartaria (по латыни), Tartarie (на французском), Tartary (на английском), Tartarei (на немецком языках), хотя территориально эта великая империя располагалась на территории будущей Российской империи и того же самого Советского Союза.

Наша героиня, Елена с общероссийской фамилией Петрова, испытала на себе все тяготы крушения Советской империи, оказавшись, как и многие наши соотечественники в кратере того исторического вулкана, который взорвался совершено неожиданно, обуглив все живое, что находилось в непосредственной близи к огненной лаве, стремительно сбегавшей с вершины вулкана к его подножию и разливавшейся далеко окрест, уничтожая все живое, что встречалось на его пути.

Елена, волею судьбы и Родины проживая в одной из среднеазиатских республик, оказалась в одночасье в роли никому не нужной русской беженки, не имеющей ни родины, ни крыши над головой, ни куска хлеба…

В поисках всего этого она оказалась в Крыму, совершенно искренне полагая, что Крым исторически входит в состав России и является неотъемлемой его частью. Но оказалось, что крымские татары, сосланные в ту же среднеазиатскую республику, где они были добросердечными соседями и откуда бежали, спасаясь вместе с Еленой от местных националистов в Крым, почувствовав себя хозяевами на своей исторической родине, тоже отказали вместе с «коренными» украинцами Елене в ее праве жить на земле, завоеванной ее предками, и она вынуждена была, снова бросив все, что нажила теперь уже в Крыму, бежать вместе со своей семьей в Москву, где, наконец, обрела то, о чем и мечтает каждый – крышу над головой, домашний уют и дело, которые в корне изменили всю ее жизнь.

Но чего-то не хватало, когда, казалось бы, исполнились все желания: бизнес процветает, дети определены по жизни и счастливы, а Родина снова крепко стоит на своих базовых основах.

Не хватало очень важного – определения своего собственного места и своей роли в отечественной истории, которые бы укрепили веру и в свои силы, и в свое человеческое предназначение, и в крепость уз, связывающих ее и ее семью с исторической Родиной.

Да и собственно само понятие историческая Родина после всех мытарств с изгнаниями требовало своего определения и осмысления, чтобы также осознать себя и свою роль в отечественной истории, а не быть пылинкой, которую смахивает с места любой порыв ветра.

Примерно в такой же ситуации оказались русские люди (или как тогда называлась титульная нация империи -- великороссы) во времена крушения Великой Тартарии. Вся номенклатура империи, как и после крушения Советского Союза, бросилась искать защиты в метрополии – только это были не секретари центральных комитетов партии национальных республик, обкомов и крайкомов, а бежавшие от национальных погромов короли, герцоги, виконты, бароны тех национальных окраин Великой Тартарии, от которых потом остались только громкие названия в титулах русских царей, умело приспособленные уже во времена Екатерины Второй под местные территориальные структуры для полной утраты россиянами своей исторической памяти – только вот ведь этот «иностранный» след в русском дворянском родословии не вымарать и не объяснить его модными веяниями галантного восемнадцатого века, когда всем русским дворянам вдруг в одночасье захотелось иметь происхождение от литвин или венгров, пруссов или даже татар…

Удивительно, но все повторяется, как в страшном сне. Вот, что значит изучать русскую самобытную историю по шаблонам, создаваемых в иностранных государствах, где бывшую метрополию «любят» также «нежно», как и могучий Советский Союз. Но ведь и СЕГОДНЯ мы вновь проходим через это историческое самоуничижение и самоуничтожение, создавая и внедряя в сознание исторические «истины», не имеющие ничего общего с великой историей России. Цель этих «истин» одна и та же, хотя и минуло полтысячелетия, -- ввергнуть великую державу в «геенну огненную», спалить ее до тла и развеять ее пепел, искореняя из памяти поколений великую Российскую державу…

За что же такая лютая – В ВЕКАХ – ненависть в нашей державе и ее титульной нации со стороны и Востока, и Запада? Почему мы из года в год, из века в век, из тысячелетия в тысячелетие отражаем один и тот же подлый и зловещий удар, направленный нам в самое сердце?

Где найти ответ на этот вопрос? В каком учебнике раскрыта суть этого явления? Кто были наши предки – «правнуци Божии» или исчадия адовы?И почему из поколения в поколение мы заражены имперской идеей и имперским мышлением, о которых даже и не подозреваем, гордясь величием своей державы, своего Отечества, своей территориальной огромностью и любовью к ближнему?

И почему мы называем себя русскими, в то время как ни одну нацию более русский язык не определяет в качестве прилагательного, то есть не вносит в определение нации никакой качественной оценки? Так почему же мы РУССКИЕ и какое национальное значение наши предки заключали в этом слове? И кто такие эти РУССКИЕ – то есть мы сами -- ЕСТЬ на самом деле?

И ответ на этот вопрос, по всей вероятности, очень прост – когда важно подчеркнуть свою национальную особенность или исключительность, выделив ее из ряда подобных, наши соотечественники, «ничтоже не сумняшеся», представляются – «Я русский еврей!», «Я русский курд!». То есть значение этого слова заключалось в объединении множества наций и народностей великого государства в единую национальную – имперскую -- силу, подобную его РУССКОМУ ЯДРУ, который, по сути своей, представляет нечто, сходное с магнитом, сила которого заключается в наличии двух противоположных полюсов, без которых не возникает та особенная энергия, которая и скрепляет народы России в единую силу в моменты смертельной для нее и себя опасности, и представляют гремучую смесь «единства и борьбы противоположностей» в мире внешнего спокойствия и относительного личного благополучия…

Все эти мысли не давали и не дают покоя. И не только одной Елене Петровой. Сегодня, по сообщению родоведа В,В. Бибикова, со дна государственных архивов подняты беспокойными потомками даже те бумаги, которые веками не извлекались из хранилищ. Миллионы русских людей (и «русских евреев», и «русских курдов») ищут ответа на вопрос о том, кто они есть в живой исторической цепочке людей, объединенных кровными и духовными узами.

Люди хотят знать свою историческую СУДЬБУ. Не ту, что создана по лекалам иностранных и российских историков, призванных царями Романовыми для уничтожения великой русской истории, раскрывающую подлую суть ветви Захарьиных-Романовых, организовавших Опричный террор и Великую Смуту во имя захвата государственной власти в империи, антинародная крепостническая сущность которой привела к Великому Октябрьскому государственному перевороту в 1917 году и разрушила великую Российскую империю, власть в которой захватили большевики-ленинцы, еще более, чем Романовы, узурпировавшие власть в стране, что привело к очередному крушению уже

Советской империи, просуществовавшей не столетия, а десятки лет. И что ожидает нас завтра?..

Елене Петровой повезло – словно по волшебству раскрылись для нее архивные тайны, и то, что было тайным стало явным, -- она происходит из старинного казачьего рода тобольского атамана Ивана Дурыни, который получил свое атаманское призвание за заслуги по покорению Сибири в казачьих сотнях Ермака Тимофеевича. Не многим выпала такая высокая честь – быть потомком тех, кто покорял Сибирь, кто прокладывал первым путь на восток, «встречь солнцу», на самую окраину Российской империи и былой Великой Тартарии, в составе которой некогда уже были эти земли, возвращенные потомкам их пращурами-землепроходцами новой волны.

Удивительное дело, на ниве покорения Сибири, встретились два человека, потомки которых в 1854 году будут оборонять Петропавловский порт.

И история этой встречи имеет для понимания отечественной истории исключительное по важности значение.

Историк русского казачества А.А. Гордеев так описывает появление в рядах казаков Ермака Тимофеевича некой «вольницы» во главе с атаманом Иваном Кольцо: «Он привлек к намеченному плану разгрома орды яицких и гребенских казаков с их атаманами Нечаем и Андреевым. Кроме яицких и гребенских казаков, к отряду Ермака присоединился отряд «вольницы» под начальством Ивана Колычева, вошедшего в историю под названием Ивана Кольцо, история которого тесно связана с событиями, происходившими в то время при московском дворе.

Установленная царем «Опричнина» и производившиеся казни княжеских и боярских родов вызвали в стране недовольство и порицание царя. В числе первых обвинителей царя оказался митрополит Филипп, принадлежавший к роду бояр Колычевых. Он открыто стал порицать царя за его жестокости и несправедливые казни подвластных ему людей. Митрополит был лишен сана и отправлен в заточение, а весь род Колычевых подвергся жестокой расправе. Воевода Колычев был казнен, один из племянников митрополита попытался скрыться во владениях Челядиных, был схвачен и подвергся жестокой казни, отрубленная голова его была отправлена митрополиту. Второй племянник митрополита, состоявший при царе в качестве стремянного, или окольничего, бежал из московских пределов, и «Московские ведомости» сообщили, что «окольничий» Колычев «ушел в нети», что означало на языке писцов того времени – «бежал из Москвы». Окольничий Колычев появился под именем Ивана Кольцо на Волге, собрал отряд вольницы и стал заниматься «разбоем» в районе Самары. Будучи окольничим при царе, Иван Колычев не мог не знать

атамана Ермака, находившегося в составе московских войск на Ливонском фронте. Он присоединился к Ермаку и принял участие в походе против Ногайской орды».

Именно Ивану Кольцо, приговоренному до этого дважды к смертной казни, Ермак Тимофеевич поручил в 1582 году сообщить царю Ивану Грозному о присоединении к Московскому царству необъятного царства Сибирского, за что был прощен и щедро награжден царем. Он погиб в 1583 году в результате предательства со стороны сибирских татар.

Бояре Колычевы, самым известным представителем которого был святой митрополит Филипп Московский, были однородцами с боярами Захарьиными-Романовыми и находились с ними в непримиримой политической и духовной схватке, отстаивая принципы русского духовного нестяжетельства, яростными и смертельными противниками которого были Захарьины-Романовы, для которых закабаление собственного народа было политической самоцелью, обеспечивающей богатство и наживу (Романовы опускались до того, что, будучи царями, чеканили фальшивую монету, обогащаясь и на этом).

В Великую Смуту, организованную Романовыми для захвата власти, немногие из русской политической элиты не поддались искушениям получить за свое национальное предательство землю и чины (в том числе и патриаршество от тушинского вора, которым был вознагражден Филарет Романов), а продолжали отстаивать интересы своего Отечества. Так Иван Федорович Колычев-Крюк, верный присяге, данной русскому царю Василию Шуйскому, разбил и пленил под Тулой Болотникова, а тобольский атаман Иван Дурыня в составе Первого ополчения штурмовал и освобождал от поляков Москву 4 ноября 1612 года. И именно этот день сегодня признан Российским государством как День Национального Единства.

В числе самых первых землепроходцев тобольские казаки Дурынины пришли на Камчатку. А вскоре число первых камчатских поселенцев пополнилось и политическими ссыльными – за участие в деле царевича Алексея Петровича, казненного отцом, был сослан навечно в Камчатку друг царевича Василий Иванович Колычев, прямой потомок Крюка-Колычева, казненного царем Василием Шуйским по ложному доносу.

А в августе 1854 года в яростной атаке, сметающей с Никольской сопки, англо-французский десант, сошлись плечо в плечо потомки камчатских казаков -- матросы 47-го Камчатского флотского экипажа Дурынины и Колычевы…

По окончанию военных событий 47-й флотский экипаж был переведен на новое место постоянной дислокации – в Николаевский-на-Амуре военный пост…

Сестра Василия Ивановича Колычева Екатерина вышла замуж за Михаила Ивановича Приклонского – это предки патриарха всея Руси Алексия Симанского, благодаря заслугам которого (он не покинул блокадный Ленинград) было восстановлено патриаршество в Советской России и прекратились политические гонения на верующих, восстановлены многие православные святыни, в страну Советов начала возвращаться вместе с именами Александра Суворова, Михаила Кутузова, Федора Ушакова не только историческая память о былой славе Отечества и великих военных подвигах его сынов, но и духовная сущность этих подвигов, овеянная именами святых князей русских Александра Невского и Дмитрия Донского.

Елена Петрова – маленький осколочек большого казачьего сосуда-рода Дурыниных – почувствовала неудержимое желание собрать воедино (хотя бы на воссозданном генеалогическом древе) рассыпанные по самым разным закоулкам бывшей Советской империи, своих родственников, многие из которых уже и ведать не ведают о своем кровном и духовном родстве с боевым товарищем Ермака Тимофеевича, освободителем Москвы от поляков тобольским казачьим атаманом Иваном Дурыней.

И что же?.. Такой же поиск из далекой сибирской земли, оказывается, вел, идя навстречу своей двоюродной сестре, не подозревая не только о ее встречном поиске, но даже и о существовании, Атаман Ямальского казачьего округа хорунжий Союза казаков России Сергей Дурынин-Венгерский…



И, наверное, тогда же родилась у него эта «Песня о Ермаке»:

Ранним летним утром собралась дружина,
Собралась дружина в боевой поход.
В легкокрылых стругах с песней удалою
Атаман с казаками по реке идет.

Эх, просторы вольные, да луга раздольные!
Над рекою встала радуга-дуга.
Песня разливается. Солнце отражается
В золоченом панцире батьки Ермака.

Поздним темным вечером налетел вдруг ветер.
Налетел вдруг ветер и поднял волну.
Разметал тот ветер все казачьи струги,
Да принес тот ветер казакам беду.

Ведь во время бури набежали тучи.
Набежали тучи злобных басурман.
Насмерть храбро бились казаки той ночью.
Пал в неравной битве славный атаман!

А на утро стихла, улеглась та буря.
Вновь сияет Солнце, да течет река.
И на берег тихо набегают волны.
Вспоминают волны песню Ермака!

Пусть летят столетия по просторам вольным,
По лугам раздольным все течет река.
Только не забыла, будет вечно помнить
Вся Земля сибирская донского казака!

17 февраля (3 марта по новому стилю) 1621 года Советом священного Собора, патриархом Филаретом и Государем Царем всей Руси Михаилом Федоровичем указано правило: Ермаку Тимофееву сыну Повольскому, с ним каждому убиенному, кликати вечную память.

Вечная Память воинам Ермака Тимофеевича Ивану Кольцу и Ивану Дурыне, а также всем сыновьям Отечества, кто создавал ценою своей жизни и ратных подвигов великую Российскую державу, вверяя ее своим потомкам, будучи уверенными в том, что духовные родовые скрепы, закаленные в веках, выдержат любые испытания времени и у нашего Отечества всегда будут достойные памяти своих пращуров потомки.



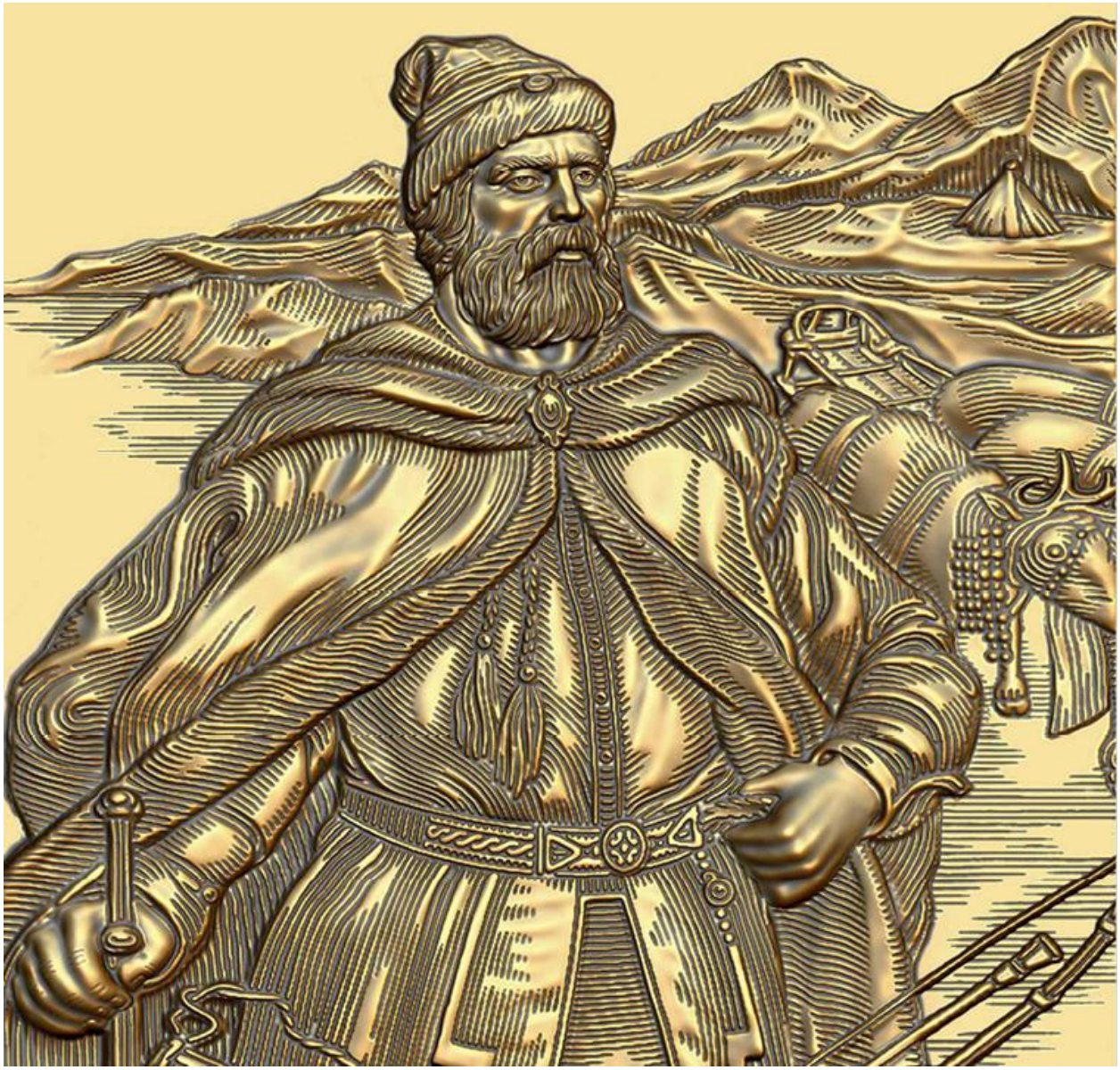
ИСТОКИ

1.

Корни отчие!.. Узловатые, жилистые, вросшие в века, как в земные глубины...

...Схоронила сибирская тайга тайну этого беглого. Никто не знал его настоящего имени. А прозвище?.. Оно было выбито на спине его несмываемым фиолетовым росчерком рубцов... Со всем холопьим старанием — Поротов! А поверстали гулящего в казаки — записали фамилией. Таких, как он, здесь сотни были — кто ж по доброй воле в даль такую дикую с места тронется; кто запросто так отмахает путь, где смерть — постоянная и самая что ни на есть верная спутница; кто решится пренебречь сладкой жизнью за трухлявый сухарь, коль не давит на плечи грех смертный...

И не потому ли из всех поротых, драных и шельмованных выделился Поротов, что мороз по коже продирал у любого при виде росписи той батожьем по живому телу?.. Надо думать, насмерть забивали холопа... И, знать, не зря укрывался он в тайге сибирской, дремучей, разбойной...



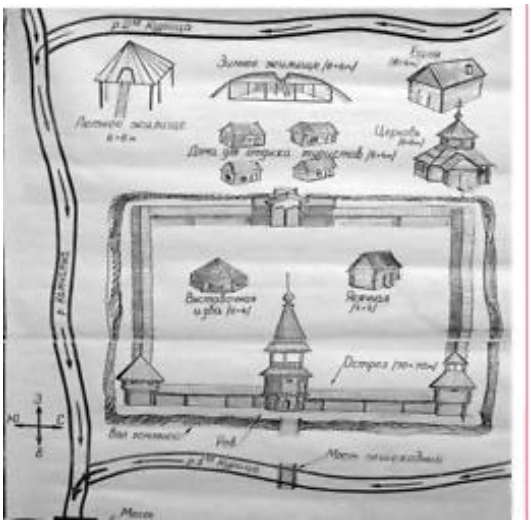
Камчатский Ермак – Владимир Владимирович Атласов

Таких, как этот, уважали сибирские казаки: жилистых, крепких, готовых и головой рискнуть и живота зазря не потерять... Не случайно в начале восемнадцатого века казак Иван Поротов в Охотске уже приказчиком был. Такие посылались и на Камчатку. И в числе самых первых. Открой том «Памятников Сибирской истории XYШ века» — казак Алексей Поротов пришел в Камчатку из Анадырского острога в самом начале века нового, то ли с Кобелевым, то ли с Колесовым... А был ли он первым из Поротовых здесь — неведомо. Но, ясно, — не последним... Уже в 1718 году заказчиком, то есть командиром одного из трех камчатских острогов, был назначен Иван Поротов. И прибыл он сюда не по старой дороге с Анадырь-реки, какой хаживали в Камчатку еще Владимир Атласов да Алексей Поротов, а по новой, через Пенжинское море, на лодии морехода российского Тряски.



Установка креста – как символа того, что отныне сия земля есть часть Российского государства

Иван Поротов принял или Большерецкий или Верхнекамчатский острог (историки говорят по-разному). Если он поселился в долине реки Камчатки, то жилось ему достаточно привольно. И мехов он набирал «за чащину» (в подарок) немало — сам верховный тойон реки Уйкоаль Ивар Азидам скрепил навечно дружественный союз с Володимером Атласовым и присягнул на верность огненному царю. Польстился он на железные ножи русских, щедрые подарки, да и ошеломлен был мощью казаков сибирских, чьи кольчатые рубахи не рвались под ительменскими стрелами.



План первого казачьего острога на Камчатке – Верхнекамчатского.

Да, здесь было спокойно. До 1731 года. Пока ительмен Федор Харчин не поднял знаменитый свой бунт.

А вот Большерецкий острог был опасным местом. Несколько раз он горел уже вместе со всем гарнизоном. И потому Поротов должен был чувствовать себя здесь как на пороховой бочке, даже за крепостными стенами, под защитой привезенных с собою из Охотска медных пушек.

И присуд был у него не из лучших. Авачинские камчадалы не так давно сожгли в балагане атамана казачьего Данилу Анцыферова «со товарищи». Коварные курильцы в землях на полдень от Большерецка у Носа Камчадальского и на Первых Курильских островах, не признавая над собой ни силы, ни власти, встречали служивых ядовитыми стрелами. На побережье моря Ламского, особенно на Гыг-реке, прозванной за то казаками Воровскою, разбойники из камчадальского рода Купкина били «ясашных» сборщиков и грабили пушную казну государеву...

Большерецк стоял на распутье нескольких дорог, но каждая сулила одно — голову потерять. И выбор у приказчика был невелик. Потому-то, не мудря и не лукавствуя, строго ясак взымал, чинил суд да расправу, казнил и миловал, защищая интересы государевы и собственные...

Завязывались на память в земле той узелки. Потому узловатыми стали корни... И думал, гадал ли сын боярский Иван Поротов, что с родников своих будущих дерет он в Камчатке три шкуры, как драли с предков его на Руси боярские отпрыски...

Да и в собственной казачьей руке по-холопьи взыграл господский кнут, когда гнали, как скот, в Камчатку пашенных крестьян с Лены на вечное поселение. Хлеба ждали от них на этих землях. Коров и лошадей — на тучных камчатских пастбищах. Огородную зелень — в летнюю пору. А потому поселили их в нескольких верстах от казачьих укреплений. И гулял еще казачий кнут по сутулым спинам крестьянским, когда съедал на корню посевы морозец мильковский или ключевской. Целый век мучались люди, то бросая бессмысленную эту затею и отступая, то, подчиняясь слепой воле приказа, снова поднимали сохою или лопатою пласты жирного чернозема, разбрасывали из лукошка казенные хлебные зерна и выискивали после редкие колоски в осклизлой гнили убитых туманами злаков... А рядом подпирали небо пустостволые неистовые в росте

шеломайники и медвежьи корни, разбрасывала широченные листья сладкая пучка, наливалась соком розовым малина, овевал ароматом веселых соцветий аралуч...

Но не распрямлял кнут ни изломанных туманами растений, ни плеч, согнутых от непосильного и бессмысленного труда, и не мог он заставить этих людей бросить хоть горсточку жизни из бушующего вокруг зеленого океана в эту черную обескровленную гнилую рану земли...

И завязывались новые узелки на память... Жестче становились корни, переплетаясь в любви и злобе человеческой... Все глубже и глубже в землю эту врастали корни отчие. И забывались потомками обиды, нанесенные казаками инородцам и пашенным крестьянам русским. Ведь все они, слившись, как ручейки, в большую реку, стали неотделимы один от другого.

И питают корни... Чем глубже уходят они в века, тем чище становятся соки, точно процеживаются через годы и столетия, через боль их, родников, через их радость, горе и нужду, сквозь сердца, такие же огненные, как и у земли нашей...

Потому и возвращаешься к истокам, потому и пьянят кровь чистые соки из глубин родной земли, и клокочет в песне твое собственное сердце, поэт...

В небе дикие лебеди стонут,
Проплывая над старым гнездом.
Крики в зареве тонут и тонут,
Гаснет эхо за редким леском.
Скоро, скоро ударят морозы,
Ледяное дыханье дохнет...
Черный холмик у желтой березы,
Подними меня снова в полет.
Я покой твой, отец, не нарушу.
Я пришел к тебе нынче седым.
Освежу доброй памятью душу.
Поклонюсь. И уйду молодым!

2.

Земля родная!... Когда-то бушевал здесь океан. Пенился острым ядреным рассолом, и не было больше ничего. Вздумалось жене бога Кутхи спуститься с небес. Сына ждала Гелькхум — вот и капризничала. Спрыгнула — и в пучину морскую. От страха и разрешилась. И сын ее превратился в землю. Хотел он мать из беды вызволить. Так и появилась Камчатка наша — из сыновьей любви.



И не потому ли боги так любили эту землю. Завина зоревым цветом небо по утрам и вечерам раскрашивала. Билюкай снежным вихрем проносился по тундре в нарточке, запряженной белыми куропатками. Пурги, дожди, громы и молнии — это все дела Билюкая. А в тайге прижились лесные боги — умахчу и карлики — пихлачи. В жерлах горелых сопок — гамулы...

Пируют гамулы,
Пылает костер.
От бубенных гулов
Качает шатер.
А кто их осудит?
От пляски чумной
Проснулись и люди,
И пихлач лесной...
Веселый Шивелуч
Играет огнем,
Долину шевелит
И ночью и днем.
Игра великана.
Раскатистый гул!
Я в жерло вулкана
Перо обмакнул!...

Морской же стихией повелевал Митг. Он посылал каждое лето в реки камчатские рыбу красную, чтобы та тополей для бата принесла богу морскому... И начинался пир по берегам тех рек, что в море впадали, у зверя дикого, у птицы остроклювой и у каждого жителя земли камчатской. Ведь даже календарь ительменский рыбными месяцами вычислен. И рыба здесь — начало всех начал... Вот, пожалуйста...

«Говорят старики, что в старину шел голодный казак из ительменского острожка Кырганика в казачью крепость Верхний острог. Устал. Присел отдохнуть у веселой речки. Смотрит: вода в ней от рыбы кипит. Наварил, наелся досыта, поклонился и в память окрестил ту речушку Милкой...» Вот, даже село родное имя свое в честь рыбы получило... И еще, конечно, потому, что нет дороже тех мест, где родина твоя: милых сердцу мест в окрестностях Мильково. Закроешь глаза — саранка росистая звенит колокольчиком на зорьке утренней, пижма в пуговичках-желтоглазках жмурится, кипей фонтанчиком фиолетовым брызжет, а вон шеломайник, как петух-задира с белым всклокоченным

хохолком-гребешком..., березка, стройная и тоненькая, как девчонка..., дорожка солнечная на парной реке..., созвездия одуванчиков на лужайке..., а там, вдали, хребты сиреневые в молочных туманах...

Травинки
В моей крови...
В гранитные храмы
Мой путь бесконечный.
Горные цепи,
Цепи мои,
Прикован я вами
К Камчатке навечно.



Георгий Германович Поротов и Евгений Филаретович Лонгинов – два певца Камчатки.

3.

Друзья мои!... Есть обычай в северной тундре дарить песню хорошим людям, друзьям своим. Так споем!

Только снова заалеет зорька на востоке,
Раздаются крики уток на речной протоке:

Ахама, хама, хама,
Ик, ик, ик...

* * *

Кэнакэтой! Так говорят у нас на Севере. Помни!

— О-о!
Бубен гремит.
— Дзинь-дзинь! -
Варган поет.
-Ик-ик! -
Кине кричит.
-Ток-ток! -
Вторит народ.

Корякская пляска задора полна...

* * *

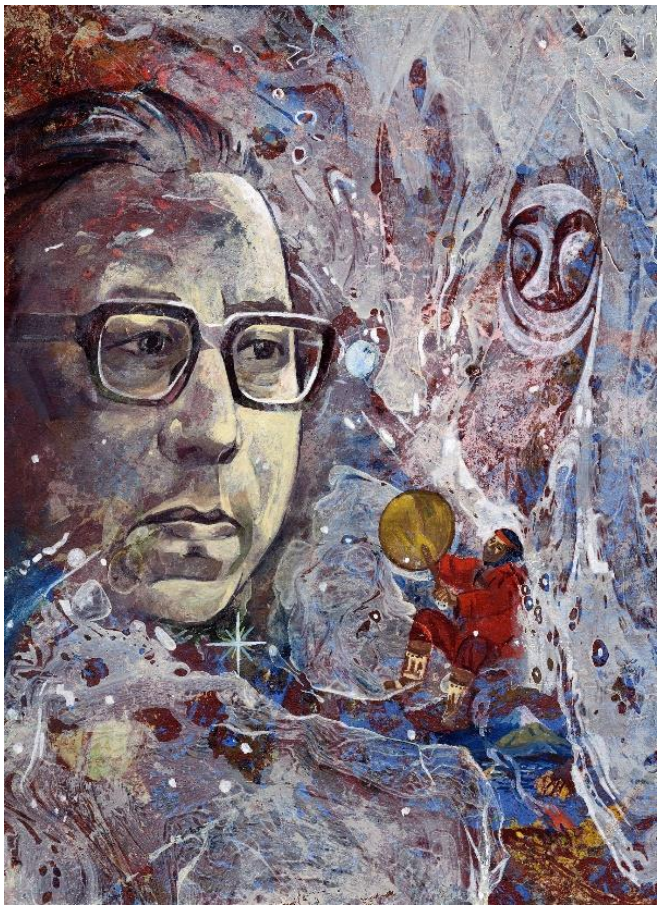
Корякская пляска —
Веселья сестра,
Я мог любоваться
Тобой до утра.
Из песен чудесных,
Сплетенных в узор,
Я видел и слышал,
Присев у дверей,—
Безмолвие тундры,
Крик птиц
И повадки зверей...



По крупицам, по щепотке собиралось. Рождалось трудно. Быть может, отсохли уже ветви от живого дерева, и какой теперь толк от всего этого, чего хворост-то собирать?! А собрал, высек огонь и в пламени того костра родился... «Мэнго». И чайки из небытия закричали радостно. Медведь повел плечом тяжелым и сделал первый свой шаг на сцене. Рокот бубна прокатился по залу и началась знаменитая сегодня на весь мир корякская пляска...

...Пути-дороги!... Где-то здесь должны были произойти новые встречи, заполниться очередные страницы ненаписанных еще книг, ведь творческий секрет Георгия Германовича Поротова был до смешного прост:

В дали шел, не просыпал рассветы,
Пел в пути и с песнею седел...



Георгий Поротов (художник В. Ворошилов)

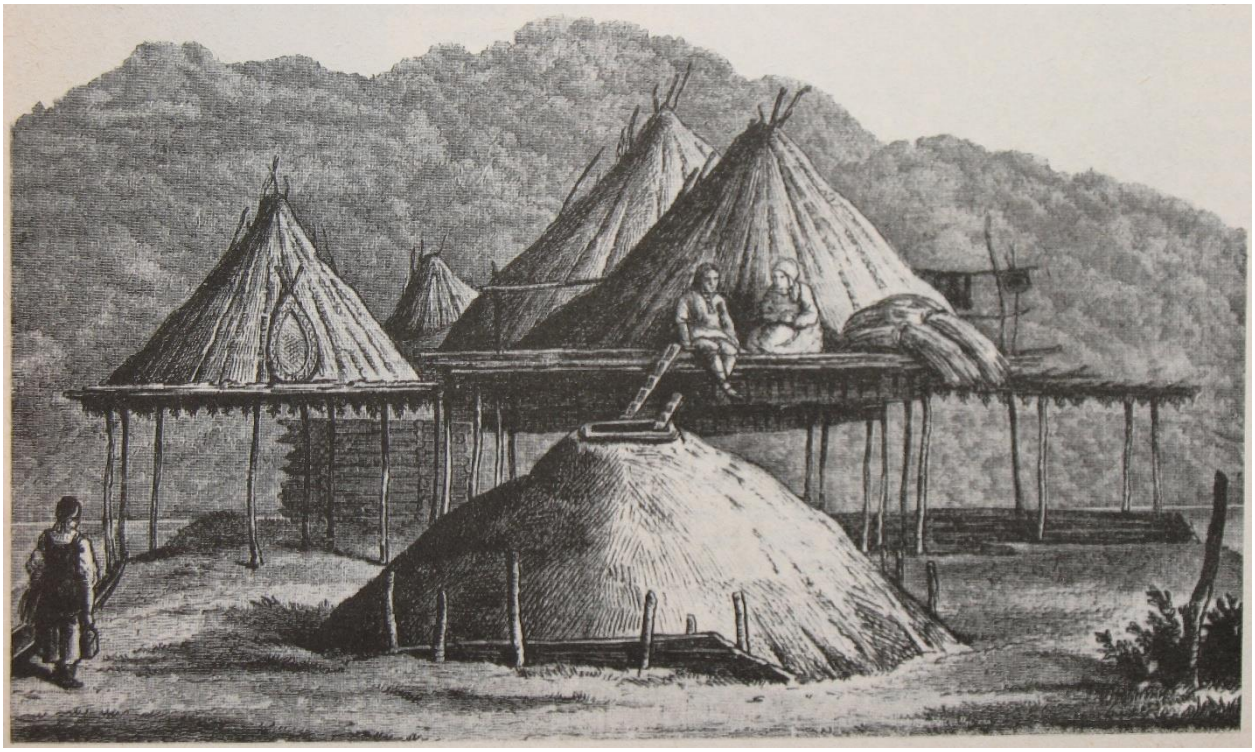
ТОЛМАЧ СО «СВЯТАГО ПЕТРА»

I. НОЧЬ ПЕРЕД ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ

1746 год, апрель, острожек Юмтин (Дранка).

Спят в камчадальской земляной юрте люди. Ворочаются, храпят, вскрикивают что-то во сне. Но Лазуков не слышит их. Его обступила гулкая тишина. Слышно, как бьется сердце. Рвется из груди. Трепещет, как птаха на ладони. Смелая от страха...

Нет, он не боялся. Все было решено. Все теперь было уже ясно. Как и то, что не поймут и не простят. И даже если простят, когда годы или смерть сотрут сегодняшний день в человеческой памяти, не поймут его те, кто спит рядом, готовясь к утреннему походу на Нижний острог.





Алексей давно уже лежал с открытыми глазами и не ощущал этого — такая темень была в юрте. Лишь уголья погасшего огня рассыпались жаркою брусникою в костровище.

Одиночество было уже невыносимо и он толкнул в плечо спящего рядом Ивашки — корякского вождя с реки Панкариной. Тот зашевелился в меховом мешке-кукуле и, протяжно со вкусом зевнув, приподнял голову.

— Что, уже? — и дернулся, чтобы освободить свое сильное тело морского охотника от теплых пут оленьего кукуля и поднять остальных.

— Нет, Ивашка... — голос Лазукова задрожал от волнения, но он быстро справился с собой, — я хочу поговорить с тобой. Как вождь с вождем. Я отменяю этот поход...

— Почему? Ты думаешь — в Нижнем что-нибудь пронюхали?... Ну и пусть... Лучше нас перестреляют у стен острога, как куропаток, чем лишат всех наших богов и повесят на шею крест! Мы готовы умереть, Талач, — назвал он Лазукова прежним ительменским именем.— И я не пойму, почему ты перестал верить в нас?

— Нет, я верю вам. Я не перестал. Я не хочу больше проливать кровь своих братьев.

— Но мы, твои братья, готовы на это и клянемся тебе Кутхой в том. Вот только богиня утра, Завина, раскрасит небо, и мы все, как один, умрем подле тебя.

— Я знаю, Ивашка. Но ты не понял меня. Я не хочу проливать не только вашу кровь...

— А чью же, Талач... — голос Ивашки дрогнул, метнулся под своды юрты, точно корякский вождь отпрянул от Лазукова, а потом этот его голос ударил в самое сердце ительмена своим пониманием и болью:

— Ты не хочешь проливать русскую кровь, Лазуков?!

— Да, Ивашка...

2. ДОПРОС

1746 год, май,
Нижнекамчатский острог.

Архимандрит Хотунцевский смотрел на Лазукова в упор. Но тот, неожиданно для священника, бестрепетно, но и без вызова, выдержал этот взгляд и не отвел глаз в сторону, не потупил взора, не моргнул.



А вот у самого отца Иоасафа от напряжения защекотало под веком, и чтобы, не дай бог, не выкатилась слеза, он резко отвернулся к писарю.

— Ну-ка, прочти вот это, — и ткнул длинным сухим перстом в лист.

Писарь затараторил, старательно разбирая собственный замысловатый почерк.

— Во оной измене от тоена Умьевушки и родников его и олюторов первым тоеном был и ясашных сборщиков Стефана Шапкина со товарыщи я с Умьевушкою и протчими кололи, а имянно: я, Лазуков, служилого Семена Минюхина да новокрещена Демьяна; карагинский тоен Экча служилого Якова Лазарева; Умьевушкин племянник Хале да олюторский мужик Апле Стефана Шапкина...

— К черту, кто и кого колол, — перебил его Хотунцевский. — Читай главное — за что?!

— ...А кололи де мы их без всякого резона и обиды на дворе по приезде их в острог к Умьевушке, когда стали собак выпрягать...

И снова глянул Иоасаф на Лазукова — точно ударил по очам его дьявольскими своими черными молниями.

— Вот сколько христианской крови на тебе, Лазуков... И, думаешь, простится?

Но по-прежнему спокойным оставался бунтарь под сверлящим свирепым взглядом попа.

— Читай, — вкрадчиво-мягко, не отрывая своих глаз от лица Лазукова, словно боясь упустить что-то очень и очень важное для себя, велел Иоасаф писарю. И от этого голоса мурашки побежали под кафтаном канцеляриста. — О том читай, как предает Лазуков своего корякского друга Ивашку и выдает все планы бунтарские...

— ...хотел взять, — почему-то дрожащим голосом начал читать писарь, словно о его собственных грехах шла речь,— с Аратуги реки с горы с северной страны с заднего бастиона на утреней заре, когда наши русские, — тут писарь точно поперхнулся ехидным смешком, — ишь ты, «наши русские» у камчуги, — пожелал он обратить на себя внимание архимандрита, но гробовое молчание было ему ответом.

— ...когда наши русские, — смешавшись, продолжал писарь, глотая, не прожевывая, слова, — крепко спят и хотели, не доезжая до острога вверх по Аратуге реке за восемь верст до острога оставить собак для утаения собачьего крику, а сами хотели итти пешком на лыжах, которому нашему совету согласовывал Панкары реки тоен Ивашко...

— А знаешь ли ты, Лазуков, — обманчиво-утомленным голосом, снова не выдержав спокойного и открытого взгляда ительмена, спросил Иоасаф, — что теперь, благодаря,— он ткнул перстом в сторону Алексея, — тебе, твой Умьевушка будет дран кнутом так, чтобы все его ребра наружу повылазили, и острог в назидание всем Дранкой прикажу звать — и всем надолго запомнится твое предательство, — а Ивашка за измену на виселицу пойдет... А вот тебя мы не тронем — наоборот, приласкаем, грехи отмолим и отпустим... И иди объясняй своим дикарям — почему ты побоялся идти на русских и за сколько сребренников продал друзей своих...

А могло ведь быть и по-другому. Как это вы там хотели? — теперь открыто издевался поп, снова вперив черные свои маслянистые глаза в чистые и бездонные, как горные озера, глаза ительменского вождя. — Истребив веру христианскую и слуг Христовых, жить в их домах припеваючи, самим господами стать и своим языческим богам служить...

— А вот это не видел? — скрутил он перед лицом Лазукова кукиш. — И знали мы все: Орлик поперед тебя успел донести. Так что помешало тебе, Лазуков?... Скажи без дыбы, без пыток правду нам... Все равно же узнаем! Ведь жить тебе захотелось, Лазуков!? Жить! Говори! Велю! — Хотунцевский любил покопаться в человеческих слабостях и пороках — это доставляло ему какое-то дьявольское наслаждение и, как чаша доброго вина, приносило радость. Потому он и стал в свое время священником. А потом и миссионером, чтобы если не выпытать полюбовно через таинство исповеди, то заставить выказать вот так, через пытку унижением, а не получится — через дыбу и правило, каленые клещи и сорванные с пальцев ногти...

Но опять же ничего не изменилось на непроницаемом смуглом лице Талача. Оно было словно отлито из бронзы. И только глаза, лучистые, теплые оживляли его. Черные длинные волосы, связанные на затылке, прятались в малахае, опущенном на плечи. И две бисеринки пота на чистом чеканном лбу.

Это спокойствие покоряло и раздражало, располагало и злило. Он словно знал нечто большее, доступное только ему и никому другому. Вот уже который день подряд задавался ему один и тот же вопрос. И один и тот же ответ вызывал откровенную ярость всех: вождя и друга Ивашки, Умьевушки — тойона Имтина острожка, где совершилось убийство ясашных сборщиков, архимандрита Хотунцевского — главы камчатской миссионерской партии, нижнекамчатского приказчика Осипа Расторгуева, и даже этого тощего трусоватого писаря с блудливыми глазенками.

— Я не хотел больше проливать кровь своих братьев... — И он не вздрагивал, не отшатывался, не вскрикивал, а был по-прежнему спокоен и величав, горд и бесстрастен, когда Хотунцевский и Расторгуев кричали ему в лицо, брызгая слюной:

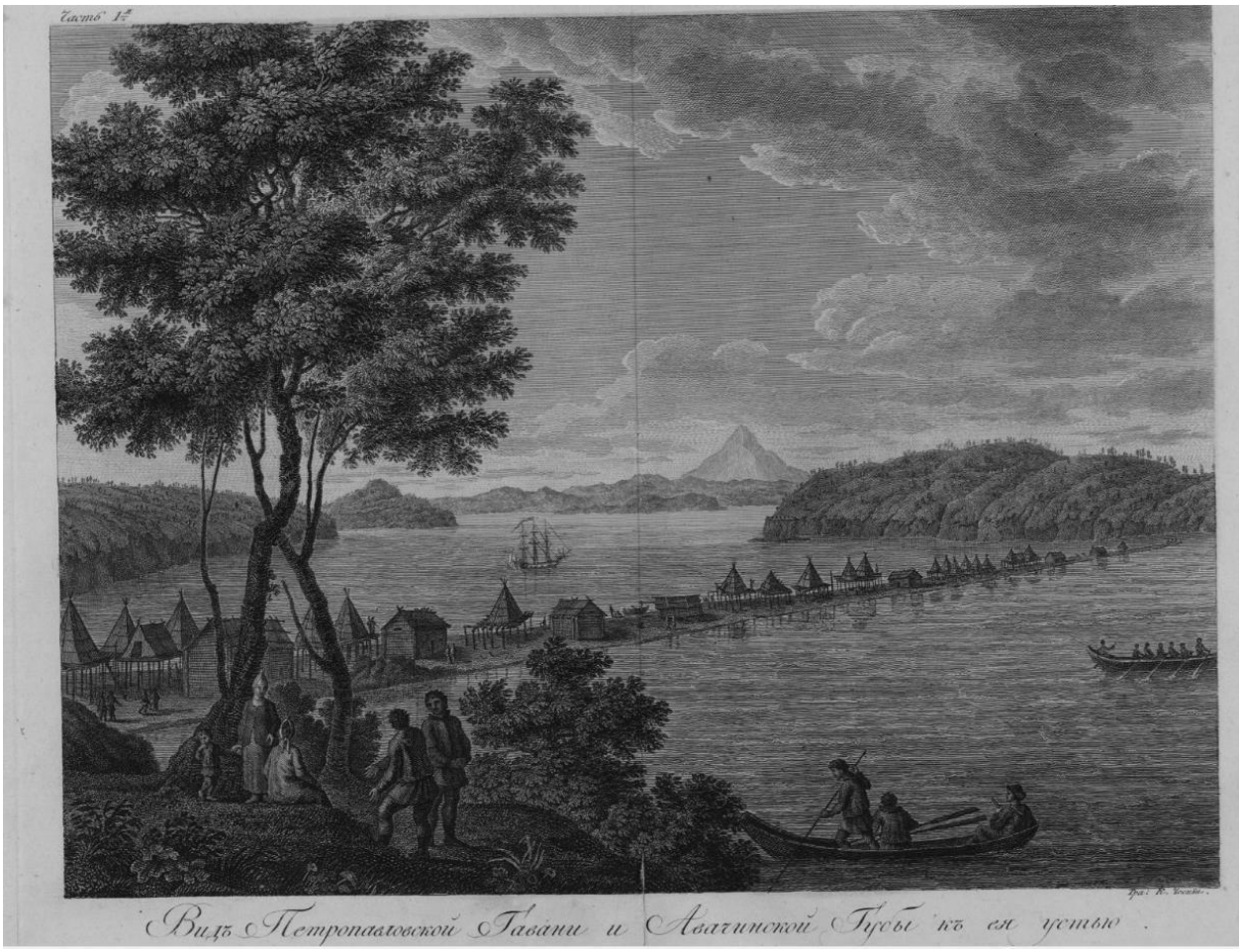
— И для этого ты притащил с собой и братца... Да мы его и этих всех твоих и тебя самого, всех подряд, плетьми, чтобы кровью захаркали, кровью с.... За каждого, кого вы зарезали тайно... За то, что бунтовать вздумали... Душу из вас всех прочь... И как один христианскому богу молиться будете, хоть пусть для этого придется через одного вас на

тополях и осинах вздергивать... И семя языческое своими собственными руками, с корнем, с потрохами... Для бога это, и он в обиде не будет! Кто творит во имя веры — свят будет...

Но спокоен и горд оставался Лазуков. Лучились глаза. Торжественная строгость бронзовела в лице. И невысокий, как все ительмены, он словно стоял сейчас на постаменте и возвышался над черным монахом с лицом хищной птицы и узкоглазым широкоскулым с русской окладистой бородой нижнекамчатским приказчиком.

3. В АМЕРИКУ

1741 год, январь, Петропавловская гавань.



— А кто таков этот толмач? — спросил Беринг у нижнекамчатского приказчика Расторгуева, просматривая списки казаков, которые должны были последовать вместе с ним на пакетботе к берегам неведомой Америки.

— Из камчадалов, — почтительно склонил голову приказчик. — Сын вождя. Знает корякский и чукотский язык. Грамотен. Служил студенту Степану Петрову сыну Крашенинникову, и тот похвально отзывался о его трудах. Православного вероисповедования. До крещения звался Талач. Это — Морской Кот по-ихнему...

— Так, стало быть, ручаешься за инородца, Расторгуев?— просто, чтобы закончить разговор, спросил Беринг.

Глаза приказчика вдруг забегали и весь он как бы скукожился, стал меньше росточком, нос приобрел какой-то лиловатый запойный оттенок, а неприкрытые густой бородой части лица посерели.

Ручаться за кого-либо на Камчатке было делом опасным. Инородческий характер таков — сегодня в дружбе, а завтра — стрела в хребтине, наконечник которой окроплен отнюдь не живой водой, а злым ядом... Самое страшное оскорбление для инородца — это ударить его по лицу. Русскому — что: вытерся, сплюнул и пошел, крестя про себя, молча, в бога, душу, мать. А для этих нет. Смерть от врага и друга он примет также спокойно, как и от собственной руки. А вот ударить — это значит нанести оскорбление, равных которому нет и быть не может, надругаться, обесчестить. А он, приказчик Расторгуев, не так давно проехался плетью и по лицу и по спине Лазукова за его строптивость, а теперь стремился на всякий случай сбагрить камчадала подальше, втайне опасаясь мести, хотя Лазуков с детства рос среди русских и многое у них перенял, а свое позабыл... Но характер есть характер — слухи ходили, что отец Лазукова, камчадальский вождь, хоть и не примкнул к харчинскому бунту в семьсот тридцать первом году, но недовольство свое казаками открыто высказывал, в глаза, и человеком, как и сын, был характера строптивого, неуживчивого, хотя и пользовался у всех окрестных племен и родников своих великим уважением, почему и сын его столь много языков освоил и многих русских в своих знаниях превзошел — был первым толмачом в Камчатке...

— Чего молчишь, Расторгуев, иль язык проглотил,— с немецкой бесцеремонностью оборвал мысли приказчика капитан-командор, — а может ты поручиться боишься...

— Что вы, что вы, ваше высокоблагородие... Ни в коем разе... Мы завсегда, — с ужасом осознавая, что не знает, что ему говорить, лопотал Расторгуев, — мы завсегда... Толмач он превосходный... И по-корякски может... и по-чукотски умеет... Никто так шибко, как он, у нас больше не способен... И понимает, опять же, его... и слушают... И почитается он везде — у коряков на Панкаре и Паллане, и у камчадалов Нижнего и Верхнего присудов...

— Ну, все ясно, Расторгуев. Значит за толмача ты головой отвечаешь? — будучи далек в своих мыслях от Расторгуева и Лазукова, заключил Беринг и махнул, выпроваживая, рукой...

У Расторгуева в коленях словно надломилось что, а дыхание и вовсе прервалось... И уже не соображая, что говорит, что делает, и в пользу или во вред ему самому будут его же собственные слова, затараторил:

— Не, ваше высокоблагородие, гордыня в нем великая... Гордыня! Не смиришь и плетями. Слыхал я, что у вас с этим в море просто. Так с этого следует и начать, чтоб знал свое место и не ерепенился...

На удивление, Беринг очень внимательно выслушал Расторгуева и даже что-то отметил в списке. Только-только накануне он отправил часть своих матросов наказать кое-кого из авачинских камчадалов, которые ни с того ни с сего вздумали вдруг бунтовать. В причины капитан-командор не вникал, хотя протест камчадалов был справедлив: во-первых, казаки решили брать ясак не только с этих камчадалов, но и с их давно умерших родников, обдирая, естественно, при этом живых, и, во-вторых, камчадалы сопротивлялись привлечению их на строительство Петропавловска как летом, в период заготовки рыбы, так и зимой, когда все мужское население Камчатки было занято охотой: рыба кормила, пушнина одевала и обувала...

— Гордыня, говоришь...

— Бунтарского племени, — словно чувствуя, о чем думает сейчас командор, чеканил, махнув на все рукой, приказчик, — его отец с разбойником Харчиным якшался...

Но, к удивлению Осипа Расторгуева, Беринг отозвался на это, самое страшное сообщение как-то странно: лицо его вдруг приняло какое-то виноватое выражение, ну, если не виноватое — тут приказчик не ручался — то, по крайней мере, сконфуженное. Он закашлялся, точно поперхнулся, и снова, теперь уже нетерпеливо, махнул рукой — ступай, мол, прочь.

Не знал Расторгуев, что вина за харчинский бунт 1731 года тяжелым камнем лежала на сердце старого мореплавателя. В 1727 году он, руководитель Первой Камчатской экспедиции, оторвал, не задумываясь о последствиях, местных жителей от промыслов. Не рискнул он тогда по осени идти на маленькой «Фортуне» из Большерецка в Нижнекамчатск через бешеные Курильские переливы и приказал все экспедиционные грузы доставить по суху. И с осени до лета 1727 года, на собаках и батах, перевозили камчадалы грузы с западного побережья Камчатки в долину древней реки Уйкоаль к подножию Горелой или Крестовой сопки, где стоял тогда Нижнекамчатск. Он пообещал камчадалам, что эта их работа зачтется им за ясак за два года. Клялся данной ему властью. И ушел в море, а затем возвратился в Охотск. Приказчики же, такие вот как Расторгуев, распорядились по-своему и собрали с камчадалов весь накопившийся пушной долг за эти два года и с живых, и с умерших. Сам Харчин, как выяснилось, в тот год отдал приказчикам тридцать соболей и лисиц... А Беринг знал Харчина — крещеного камчадала, вождя с реки Еловки... И мучительно грызла командора вина перед ним, хотя — что он тогда мог уже изменить — был в столице, отчитывался за неудачную экспедицию, выслушивал упреки, подумывал об отставке, и, конечно, не было ему тогда дела до собственных обещаний и заверений, данных этим самым камчадалам, Харчиным и Лазуковым... Может и отца этого толмача он тоже знал... Со многими вождями был знаком ведь тогда, и кабы не они, может и вообще никогда бы не смог он пойти к Северному океану и пройти тем проливом меж двух великих материков... Эти самые харчины и лазуковы несли на своих плечах будущие шпангоуты и мачты его «Гавриила», который они же помогали строить на берегу Ушковского озера, что выше Нижнекамчатского острога, а здесь вскоре все полыхнуло огнем того бунта — сгорит острог, погибнут казаки, взойдут на эшафот бунтари харчины и приказчики-воры... И ничего не исправишь, не добавишь, не убавишь — это уже история, прошлое, отжилое, хоть винись, хоть наплюй — все едино теперь для потомков...

Нет, не наплюй — что-то здесь не так, не то...., по крайней мере для самого Беринга сейчас... Не склонный к чувствованиям, угрюмоватый и флегматичный, разбитый, усталый не столько уже от дел, сколько от прожитых лет, он все-таки почувствовал какое-то волнение в душе, нечто вроде слабых сердечных спазм, но без щемящей боли, которая нехотя покалывает и нехотя отпускает, чтобы снова кольнуть и отпустить, заставляя все время помнить о себе и ждать, утомительно и обреченно. Нет, это было волнение другого рода — и он с удивлением понял сейчас, что ему совсем не безразличен этот неизвестный пока еще толмач, и испытывает он к нему что-то вроде симпатии, что-то вроде какого-то душевного расположения, даже душевной близости.

Нет, это была, наверно, просто старость. Жизнь уже подводила свои итоги. И хотелось уйти из нее без долгов, со спокойной совестью отойти в мир иной, ну что же...

...Так он и лежал потом, засыпанный по грудь песком на необитаемом острове в Великом океане, который он пересек из края в край одним из первых в мире. Теперь он спал. Спал вечным сном. Но те, кто чудом остался в живых и не был истощен, как старый шкаф жуком-древоточцем, не сошел с ума, не был выброшен за борт зашитым в парусину, не был изувечен и смят штормами, изнурительной работой с парусами,

промозглым океанским холодом и склеивающим желудки голодом, те боролись теперь за жизнь.



4. КОМАНДОРСКОЕ БРАТСТВО

1741 год, декабрь,
Командорский остров (о.Беринга)

— А мне его как — Моржовичем или Китовичем величать прикажешь?..

— Отчим именем. Если у родного его отца оно, может, и было языческим, то у крестного — христианским, языка вам не обожжет, — голос Стеллера висел на такой высокой ноте, что готов был вот-вот сорваться. Лазуков хотел было отойти от землянки, но тут его точно обдало жаром — говорили о нем.

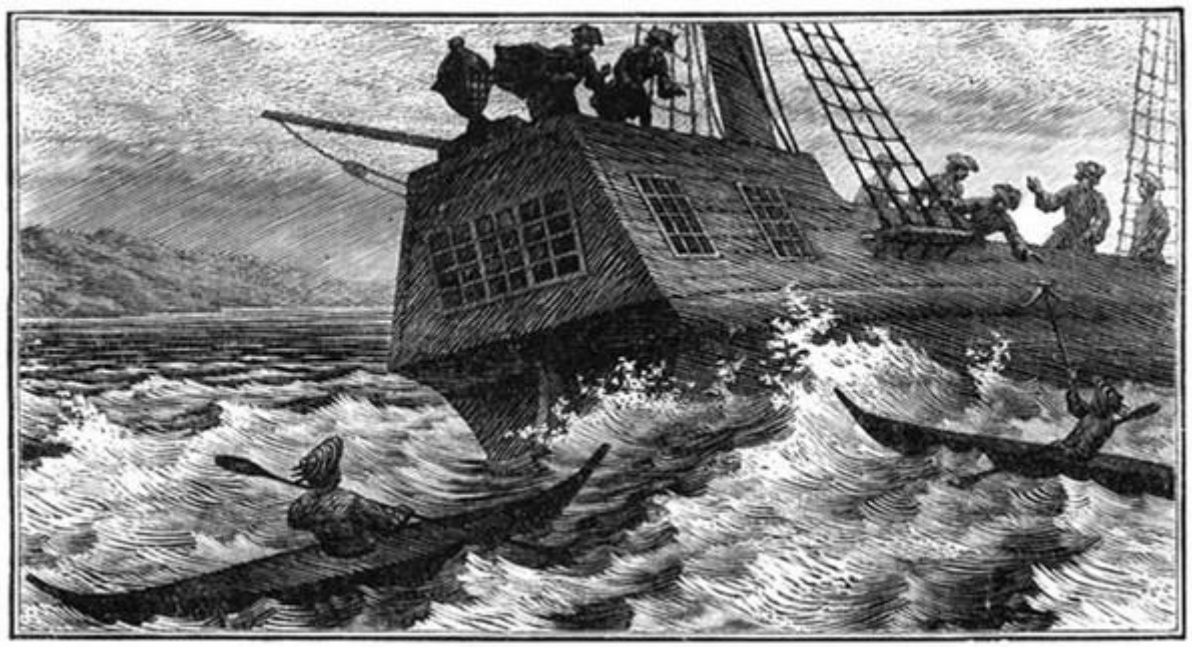
— Твоего камчугу все Беринг приваживал, а он — как зверушка: только зубы в ответ скалил. Эх, не я на его месте — покрошил бы их.. Дикарь, а спесив, что твой лорд аглицкий... Холоп — а ты ему — Алексей. Поганый сын. ..Тьфу! — Хитрово грязно выругался. В глазах Лазукова зажегся дикий звериный огонек, и он закаменел лицом, как все ительмены каменеют лицами перед боем или большим испытанием их мужества: в такую пору они несокрушимы, хоть калеными щипцами пытай его тело, рви его на кусочки, убивай на глазах жену, детей, мать с отцом. Только хищно напружинились ноздри и сам Лазуков чуть подался вперед на этот голос из-под скрытой под снегом тонкой парусины.

— А ну-ка вспомни, Хитрово, один из Шумагинских островков, куда ты, по собственной дури, погнал шлюпку, чтобы проверить, что это там за огонек горел ночью... Вспомнил? Так вспомни, как из-за тебя, гордыни и спеси твоей, чуть не погибли шестеро — это ты загнал шлюпку в прибойную волну, где ее перевернуло и выкинуло вместе с вами на берег, только чудом не утопив. Шестеро вас было... Ветер противный, в нос, самим не выбраться... А пакетбот паруса поднял и ушел... И не знал ты, что ушел он прятаться от ветра за остров... Думал — совсем! И плакал ты, землю ел на том острове. И люди твои, глядя на тебя, тоже волками выли. И кто вас, русских людей, к мужеству в тот час призывал? Кто твердил, что не бросят вас, что на корабле честные и смелые люди, и они обязательно вернутся... знать, надо так, что уходят сейчас... что не надо боятся чужой земли — с голоду на морском берегу никто еще не умирал. Матросы успокоились, спать у костра легли. Лишь двое вас у костра оставалось до утра — ты слезы лил, а Лазуков дрова по берегу собирал и огонь для вас в костре поддерживал... — Стеллер говорил медленно, но чувствовалось, что он задыхается от злости, и порой он срывался — тогда голос его метался по землянке, как прапор в шторм.

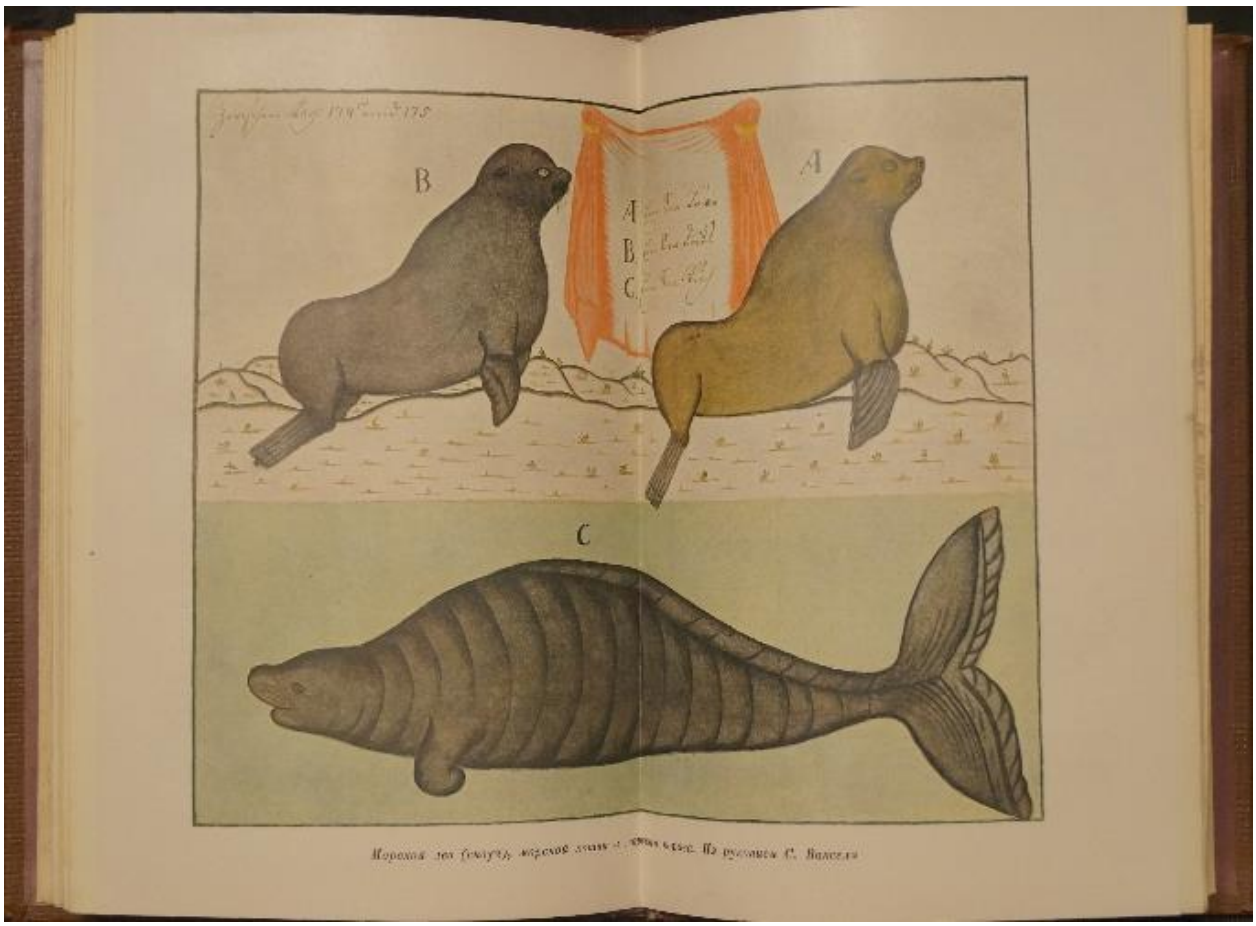
— Должно быть, ложь? — принужденно-равнодушно спросил внизу помощник Беринга Ваксель и, по тону его не было понятно, к кому обращен был этот вопрос.

— Ложь!? — взвизгнул Стеллер. — А ты... а ты, Свен... — Стеллер не находил слов: злость била в голову и растворяла в себе память, как царская водка медные пятаки, — ты, Свен, не лучше... Такая же грязная паршивая свинья... И не смей меня перебивать! Там же, на Шумагинских, когда уже мы с тобой, матросами и Лазуковым пошли на шлюпке к американцам, ведь именно ты чуть было не погубил его. Мы пошли потому, что сами американцы пригласили нас в гости. Жаль, конечно, что была большая волна и берег в острых камнях, не высадишься. И все-таки мы умудрились переправить на берег Лазукова и двух матросов. Ты видел, Свен, как их приняли те американцы!? Сколько было радости — они отдавали нашим последнее: несли куски китового жира, выкапывали и дарили какие-то коренья. А что сделал ты, Свен, когда один из них, может быть, самый старый и уважаемый, потому что держался он с большим достоинством, подплыл на своей байдаре к нам... Ты сделал подлость, Свен, — ты преподнес ему чарку водки, и он, следуя твоему примеру, влил ее в рот и тут же выплюнул, заорав от страха... А ты? Ты сунул ему в рот свою трубку, и он чуть было не задохнулся дымом... Что если бы тебе,

лейтенант Ваксель, преподнесли камчадалы свою любимую похлебку из тухлой рыбы с ивовой корой!? Ты, поди, изрыгался бы до кишок от такого лакомства и перестрелял бы всех этих кулинаров! И американцы правильно решили, что ты злой человек, и не захотели отдать тебе Лазукова... Правильно — ведь это ты потом хотел переловить их всех на острове, как диких зверей, и привезти в Россию, но Беринг не позволил... Лишь залпом из мушкетов в воздух тебе удалось отогнать американцев и освободить толмача. Но ты бы и бросил его спокойно, если бы хоть какая-то опасность угрожала лично тебе, Свен Ваксель…



— Ты, Георг, сейчас пользуешься тем, что мы оба с Хитрово прикованы болезнью к своему так называемому ложу, если им можно назвать этот сырой песок, и зависим от тебя, здорового человека... Поэтому мы бы не хотели ссориться, — просительно-жалобно, и опять же притворно ответил на все высказанное новый, после Беринга, командир, — сейчас мы такие же, как все, несчастные жертвы этого острова, а вас всего-то четверо, кто еще способен стоять на ногах — ты, Лазуков да два камчатских казака — на кого вся наша надежда, и на кого мы молимся, как на господа бога...



Аборигены острова Беринга – морские котики и морская корова.

— Так ты не только молись на него, но и почитай, как Бога... Он тебе сейчас и бог и судья!

— Не кощунствуй, Стеллер, — слабо пискнул Хитрово, злой всегда, как воробышек, взъерошенный и мокрый, зыркающий, когда вот так же злой, по сторонам своими круглыми птичьими глазами.

— Что? — это был даже не крик и не визг, а что-то раздирающее душу на части, но Лазуков не вздрогнул, оставаясь спокоен и недвижим. — А вы думали, господа, что вы и сейчас, здесь, на необитаемом острове, будете вершить его судьбу, судьбу казаков, матросов и солдат — всей этой безродной черни?! Это там, на пакетботе, в океане, вы были облачены высшим доверием и властью... Теперь же это все — фикция... Вы сами так решили, там, в каюте у Беринга, на Совете... Вы струсили и хотели ухватиться за любой кусок земли, чтобы выжить, и когда денщик Беринга Овцын, разжалованный лейтенант российского флота, сказал вам, что это земля вовсе даже не Камчатка, вы выгнали его вон и убедили остальных, что это Камчатка, и вам поверили... Теперь вы тоже хотите выжить, потому вам нужен здоровый холоп, чтобы таскал дрова, бил бобров, топил снег, сохранял землянке тепло... А иначе вы подохнете...

— Но ведь ты, Стеллер, был на том Совете и молчал... Значит и ты причастен...

— А вот этого не хотите! Я молчал, зная, что это не Камчатка. Я хотел побывать здесь. Не для того отправлялся я в плавание к Америке, чтобы иметь там лишь шесть часов для собирания материалов, которые столь любезно предоставили вы мне вместе с Берингом. Я мечтал побывать здесь — но люди мечтали о возвращении на Камчатку. И я молчал. Любая земля, где бы мы не высадились — это жизнь. И я имел свое право молчать.

Вы же цеплялись за этот берег только из-за трусости и готовы были погубить любого, кто встал бы на вашем пути... И сейчас вы тоже хотите сесть на чью-нибудь шею и таким способом существовать и здесь... Не выйдет!

— Хорошо, Стеллер, что вы хотите от нас? — слабым голосом спросил его Ваксель.

— Я требую от вас, как от официального начальника, отказа от чинов и привилегий, абсолютного равенства всех и во всем без исключения, полного равноправия в распределении провианта, обязанностях по обслуживанию лагеря, охоте, заготовке дров и во всем прочем, уважительного отношения к нижним чинам, казакам, инородцам, величанию их по имени-отчеству, принятию коллегиальных решений по наиболее важным вопросам нашей жизни, член коллегии — каждый член экипажа пакетбота...

— Хорошо. Я согласен с вами, — недовольно согласился Ваксель,— а вы, Софрон Федорович?

Тот лишь заскрежетал в ответ зубами.

Лазуков отошел от землянки, волоча по снегу морского бобра, которого он добыл и принес сюда по приказу Вакселя, и зашагал к крайней, также крытой парусиной яме в сыпучем песке, где вперемешку с мертвыми, которых еще не хватало сил предать земле, лежали больные цингой матросы. Он сам бы впился сейчас зубами в нежное кровяное мясо, одна мысль о котором острой болью пронзала иссохшийся от голода желудок, но неведомая сила сдерживала это желание и вела его сюда, к крайней землянке...

— И все это из-за какого-то там дикаря?!

— Мне странно, Хитрово, — ответил на это Стеллер уже спокойно, — что тебе, русскому человеку, мне — иноземцу — нужно давать ответ на этот вопрос. Вы прошли всю Сибирь, а знаешь ли — почему? Да потому, что в отличие от других наций, вас, а не таких вот, как ты, интересовали не столько меха и золото, рыбий зуб и мамонтова кость, сколько живущие здесь народы... Именно любопытство затащило вас столь далеко. А любопытный — он доверчив. Очень доверчив. И его легко погубить. А еще легче полюбить. И ваш народ оказался таким, что он не просто шел по этой земле — он врастал в эти народы, роднился, сливался, становился своим, щедро делясь всем, что имел сам... Лазуков бы сказал: становились родниками... И в этом ваша главная сила, ваша великая сила, и я преклоняюсь перед ней... И этой силе покоряются охотно, потому что ей не отдаются на милость, поступаясь своим, а вверяют себя, свою судьбу, свою жизнь, свое будущее, сначала как сын доверяет своему отцу, а потом как брат брату...

...И они действительно выжили в тот год на необитаемом острове, который назвали Командорским.

Оказались сильнее цинги и голода, холода и гнетущей тоски по родине. Они встали на ноги и плечом к плечу из развалин бывшего пакетбота «Святой Петр» построили маленький гукор и вернулись на нем в Петропавловскую гавань.

И Ваксель напишет потом в своей книге, что выжили они только благодаря командорскому братству, в котором все были равны, несмотря на былые чины и звания...

5. КРЕЩЕНИЕ

1745 год, сентябрь,
острожек Минякуна (Воямпольский).

Воямполка — река серьезная. С быстрым течением, хищным нравом. С заломами и уловами. С ощерившимися острыми сучьями корчей...

Хотунцевский опасливо подошел к реке, заглянул с обрыва, поморщился и плюнул в реку — и тут плевок крутануло на стремнине и сбило с речной пеной, а река, казалось, с еше большей силой навалилась на берег, намереваясь смыть этот кусок земли, на котором стоял святой отец.

— Что за река? — спросил он у толмача.

— Воямполка. Река Утопленников, — перевел Лазуков.

Хотунцевский дико взглянул на него, перекрестился и быстро пошел прочь от реки.

А через час все уже было готово к крещению: нашли подходящее место на кривуне, где течение упиралось в противоположный берег, образовывая небольшую заводь — здесь при желании можно было свободно разместить все население корякского острожка.

По сигналу архимандрита казаки погнали будущих своих крестных детей в воду. Те, с обезумевшими от страха глазами, пытались вырваться, но уже свистели плети, щедро раздавались зуботычины, кого-то просто втаскивали и бросали в воду у ног архимандрита — Хотунцевский обычно не церемонился со своей будущей паствой на крещении и проводил его столь стремительно, что даже отъявленные безбожники — камчатские казаки — только диву давались.

Так и сейчас — пошвыряв, как и в самое первое крещение на Руси, будущих сынов божьих в воду, архимандрит, не обращая никакого внимания на своих помощников, ставших в боевую стойку у воды, сжав в руках пищали с дымящимися фитилями, чтоб в случае чего и припугнуть, начал превращать язычников в христиан. Те дрожали от холода и страха, не понимая чего от них хотят и готовясь уже к тому, что их просто-напросто перетопят сейчас всех, как щенят.

Лазуков переводил. Он сам не понимал церковно-славянского бормотания архимандрита и поэтому не столько переводил, сколько просто объяснял перепуганным корякам то, что думал по поводу русского бога сам.

— Наш бог Кутха — ворон. Он плохой бог. Глупый и жадный. Питается всякой падалью. Поэтому что от него можно ждать хорошего?

А Иисус Христос — человек. Добрый человек. Он сильнее всех духов: и добрых, и злых. Ему не нужно мазать губы кровью и класть в подарок внутренности и кости. Только повесишь в юрте доску с жирником и все. Кланяйся себе и проси о чем хочешь — и будет.

И еще. Все мы теперь будем братьями. И равны перед богом будем все. И друг перед другом. Любить и жалеть будем друг друга.

Хотунцевский в это время махнул кадилом кому-то из инородцев прямо в лицо. Тот отпрянул в толпу, началась паника.

Самый крайний к течению коряк, стоявший по грудь в воде, вдруг взмахнул руками и забарахтался в воде. Течение тут же ухватило его. Но еще можно было протянуть кому-нибудь руку и помочь ему. Никто не сделал этого: по корякским понятиям водяной бог забирал свою жертву, потому что ему нужна была чья-то жизнь и нельзя было мешать в этом богу. Спасешь утопающего — значит, отдашь ему свою жизнь, и тебя самого поглотит река Утопленников — Воямполка...

Ближний казак, отбросив в сторону пищаль, бросился на помощь и крик его заглушил и перебил Хотунцевского:

— Держись, братка, сейчас я... Руку давай... Руку...

Он был уже совсем рядом. Коряк протянул было руку, и казак потянулся к ней, готовый сам сорваться уже следом в злые водовороты, но спасти утопающего, как вдруг коряк отдернул руку и ушел с головой под воду.

— Эк, бедолага, — крякнул дюжий кареглазый казачина с таким же, как у Лазукова, скуластым бронзовым лицом, — не захотел мне свою смерть отдавать, — и сумрачный, махнув рукой, тяжело побрел назад, к берегу.

Хотунцевский завершил таинство крещения, словно ничего не произошло, раздал корякам фамилии их крестных — Баранникова, Прокопьева, Лазукова и прочих, а потом подошел к казаку и, ударив его кадилом по лицу, осквернился:

— В колодки забить... Пятьдесят плетей... Ах ты, б... — таинство крещения нарушать?!...

6. БУНТ

1746 год, февраль,
острожек Харчинский

— Русские попы говорят, что мы будем хорошо жить только после своей смерти. Кто плохо живет сейчас, тому будет хорошо там, в загробном мире, на том свете. Но сами строят себе хоромы и обжираются сейчас, не торопясь к верхним людям за лучшей жизью. Значит они лгут! Нам должно быть хорошо потом, а им — сейчас... Нет! Пусть будет по справедливости: все живем — всем хорошо, а кому не нравится это — пусть убирается к верхним людям... Они врут — и там, у верхних людей, есть свои приказчики, свои попы. Вот и не торопятся: вдруг не попадут на хорошие места. Пусть убираются с этого света и отвечают там, на небе, за свои грехи, а нам бояться нечего — и мы будем жить здесь. Тогда всем будет поровну, всем хорошо... Возьмем один грех на свою душу — и в этом тоже сравнимся с ними, отчего бы нет...

Слушая Лазукова, решимостью горели лица тойона Ивашки с реки Панкары, Умьевушки и его родника Начика, ительмена Камака из острожка Шванолом с Камчатки-реки, тойона с Водопада-Паллана и брата казненного десять лет назад Федора Харчина — Степана...

— Наши родники готовы идти за тобой, вождь!

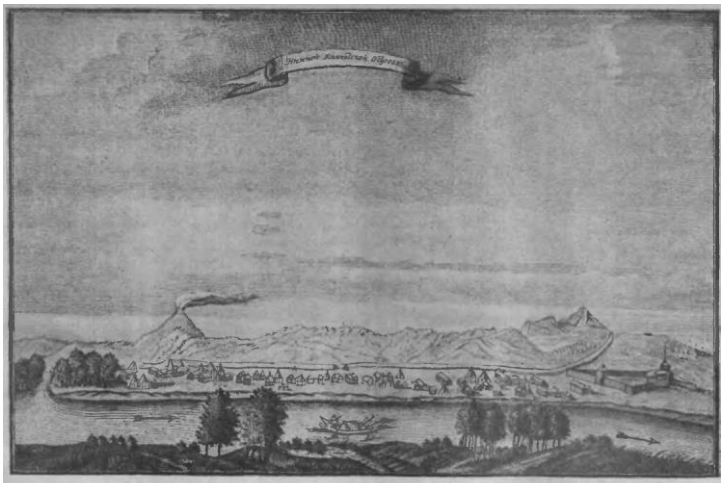
...А потом была та бессонная ночь в острожке Юмтином, названном впоследствии Дранкой.

УДАЧИНЫ

1.

Никогда Камчатка не знала такого оживления — со всех вольных краев Руси-матушки собирались здесь бывшие крестьяне и посадские, чиновники и купцы; становясь мореходами, они на утлых шитиках отправлялись в самое свирепое в мире море за бесценными морскими бобрами... Они обрекали себя на голод, цингу, смертельный риск, без которых не обходился ни один вояж, но все новые и новые партии промышленных людей добирались сюда, на край земли русской, и уходили за горизонт, к берегам будущей Русской Америки...

Нижнекамчатск — столица камчатских мореходов — кипел этой жизнью. Плотники рубили из трехсотлетних лиственниц шитики и вязали им борта гибким китовым усом, ремнями из лахтачьих или моржовых шкур, ивовой лозой. Мореходы справляли паруса. В кузнях звенели молоты, выковывая из мильковского железа якоря. Девки и бабы по домам сучили нитки из крапивы, стирая пальцы до крови, для сетей на морских бобров. Сушились сухари из привозного и ключевского ячменя и ржи. Вялилась юкола — пласты несоленой лососины. В березовых кадках просаливались для дальнего вояжа медвежатина и оленина. Трюмы забивались пустыми бочками для морской говядины из командорских коров Стеллера. Сюда же грузили тяжелые мешки с солью из варниц ссыльного нижнекамчатца Сновидова, поставившего небольшой завод в устье реки Камчатки.



Нижне-Камчатской острог.
Иллюстрация к первому изданию „Описания Земли Камчатки".

Тут, как видим, шли приготовления к походу в море-акиян. А в двух трактирах, выросших в Нижнем после первых же удачных вояжей, словно грибы после дождя, гуляли те, кто вернулся с промысла богачами... И многие из них, богачей, за те дни, пока шитики готовились к новым походам, спускали здесь все до последних портков и снова шли в море, не успев вволю глотнуть жаркого нижнекамчатского солнышка, шли в сырые командорские и алеутские туманы, чтобы расплатиться с долгами и ...влезть по уши в них снова...

Счастье, оно ж такое — одного обласкает, другому подморгнет и обманет, а третьему вообще ноль внимания и фунт презрения... Но каждый из тех, кто шел в море, надеялся на свою удачу и грезил дивными сокровищами, умирая от голода и цинги на далеких и диких островах, очень часто возвращался назад таким же нищим, как и был...

И снова шли в море камчатские мореходы, навстречу холодному утреннему солнцу, восходящему над океаном.

Шли искать то, что не надеялись найти в России...

2.

Нижнекамчатский казак Никифор Колегов, низкорослый, с юркими пронзительно-черными глазами, широкоскулый, с реденькой седой бороденкой рядом со своим зятем Алексеем Удачиным, вологодским богатырем, ясноглазым, белокурым великаном с косой саженью в плечах и пудовыми кулачищами, выглядел совсем мальчонкой. Старику было

уже под семьдесят, и он был из первых казачат, рожденных ительменскими мамками от якутских казаков в самую начальную пору заселения Камчатки русскими, когда стоял в долине Уйкоаль-реки один на всю эту землю Верхнекамчатский острог, срубленный атласовским «сотоварищем» Потапом Серюковым. Отец Никифора рубил Нижнекамчатское зимовье на Еловке вместе с Петром Козыревским, а затем возводил смотровые башни и конопатил стены Нижнекамчатского острога, построенного у подножия Горелой сопки. Злые были времена: отцы подсылали казачат подслушивать и вынюхивать — не готовят ли где ительмены измены, не подговариваются ли к войне с казаками, не таят ли где они драгоценные меха морских бобров, соболей, лисиц красных, чернобурых и сиводушчатых... Никифора учили — ты не камчуга, а русский, в тебе казачья кровь и тебе в будущем повелевать здешними племенами. С этой мыслью он вырос. Заматерел. Был поверстан в казаки. И не мыслил даже, что может быть как-то по-другому. И ему, казаку, несли чащины — подарки — соболями и лисицами. Он собирал ясак со своих дядьев, собирал так, что и лоскутка мехового потом не сыскать во всем острожке — и с умерших, и с сирот, и с калек... И его ненавидели и презирали за жадность. А он ненавидел и презирал всех их за то, что в его жилах кипела такая же дикарская кровь, как и в их.

И лишь только дочь вождя соседнего ключевского острожка любил он на этой земле.

Каганагчь звали ее, что значит Золотистый Рододендрон. И правда, красивей Каганагчь трудно было сыскать по всей долине древней Уйкоаль. И она, его жена Каганагчь, спасла Никифора в тот день, когда вождь с реки Еловки Федор Харчин и его дядя Голгоч, ключевской тойон, подняли свой знаменитый бунт и спалили Нижнекамчатск, перебив весь его гарнизон Там погиб и отец Никифора — один из тех казаков, что пришли на Камчатку еще во времена Атласова. Такая же участь ожидала и сына — многие из ительменских воинов искали его в отсветах пламени, чтоб пустить меткую стрелу, но Каганагчь, узнав от матери о готовящемся ительменском бунте, обманом увела мужа к Горелой сопке, а когда все же бросились в погоню за ними воины, она увлекла Никифора к горячим источникам-ключам, где по ительменским поверьям живут духи гор, и ни один воин не осмелился приблизиться к ним и пустить свою окропленную лютиковым ядом стрелу или метнуть дротик с острым обсидиановым наконечником...

Но и это не уберегло Никифора от справедливого возмездия — следственная комиссия, присланная из Якутска, чтоб расследовать причины бунта, признала и его вместе с приказчиками виновным в разорении камчадалов. Казак Колегов был приговорен к смертной казни через повешение. И уже не любовь красавицы Каганагчь спасла его, а искристый мех припрятанных на черный день в таежных тайниках соболей и морских бобров, до которых оказались охочи и страшные судьи... Так что Голгоча с Харчиным он пережил, откупившись за все прошлое, сняв с души все старые грехи, чтоб они не мешали творить новых...

И вот он сегодня учил зятя, уходящего передовщиком в вояж на восход солнца к американским берегам на отобранном в казну у иркутского купца Ивана Бичевина лучшем во всем этом крае боте «Гавриил»:

— Ты, Олеха, помни главное — там народ еще не знает истинной цены меха и отдаст даром, ты только обхитри его, а не получится — припугни... Сила силу ломит.. И отбери — ты человек и перед дикой природой отступать не смей! Отступишь — пиши пропало... Ты передовщик — главный промысловик — тебе и счет мехам вести. Я вот как бы сделал. По старинке. Пришел, заложников-аманатов взял — лучше детей ихнего вождя какого-нибудь — и пусть отрабатывают мехами, складывают кучами в рост дитяти...

Когда казаки на Камчатку пришли — здесь народы вообще зверя не били и цены ему не знали, поэтому когда Атласов силушкой громыхнул — ительмены охапками меха к его ногам ложили... Вот и тебе также советую — громыхни там силушкой — вот ведь она у тебя какая, — любовно провел рукой старик по могучему плечу зятя. Тот довольно хохотнул:

— Ниче, папаня... Скрутим в бараний рог, если поперек дороги нашей встанут! Вытрясем мы из них меха, а откажут — так вместе с душой тряхнем... Вот так! — ударил точно молотом его молодецкий бас. И от всей этой богатырской фигуры повеяло такой грозной силой, что и Никифор струхнул...

... Ночью Алексей с женой, Любушкой, не спали — уходил промышленник в чужие края не на один год, и никто не знал, вернется ли он назад...

Ночь была светлая, звездная. Рдела огнем вершина Горелой сопки.

— Вот и я тебя, Олеша, люблю так же, как Любушка своего Ипльха, — прижалась жена к Алексею.

— А кто это?

— Ты не знаешь? ... Когда-то в старину, давно-давно, жили в Ключевском острожке муж с женой. Его звали Кыен, так как он был из рода Медведя, а ее Атхлах — Венера, — она родилась в тот час, когда на небе зажигается эта звезда. И это были гордые и смелые ительмены. И они очень любили друг друга.

Но так случилось, что Кыен пошел против воли тойона (вождя) Ашха. Так бывает всегда — смелый ведь не видит опасности, а когда видит, то не обходит, а идет ей навстречу. Ашх был богатым — он первым из ительменов научился торговать пушниной с русскими купцами и был своим среди русских казаков. И не было потому ни в чем нужды у тойона. А Кыен был беден — все, что он добыл в тот год на охоте, ушло в ясак: казаки припомнили старые долги его отца и деда, хотя дед его умер еще до того, как авачх — рыжебородый — Отлас стал братом верховного вождя Ивара Азидама. Но Кыен надеялся, что поправит свои дела следущей зимой. Среди зимы же вдруг пошел дождь, а потом ударил лютый мороз с пронзительным северным ветром и все в тайге заковало в толстую корку льда. Звери ушли из тех мест, где охотился Кыен и ему пришлось искать новые охотничьи места. Но неудача изо дня в день преследовала Кыена и наконец он не выдержал — пошел туда, где запрещал охотиться тойон, пугая всех злыми духами, живущими в горячем озере, но все знали, что своих сыновей он посылал именно в те места, и они всегда возвращались с богатой добычей.

И правда, — здесь лежал мягкий снег и он был испещрен множеством следов: соболь гулял здесь, лисица, разбойница-росомаха...

Кыен не стал спешить с охотой — первым делом он поставил здесь юрту. И нашел такое место, где она стояла бы долго-долго и служила бы не одному поколению охотников. Не один день потратил Кыен, и юрта получилась на славу — не пропускала воду, не продувалась ветром и было в ней тепло и уютно. И охота была тоже удачной — вернулся домой Кыен с богатой добычей. Узнав, где он промышлял соболей, тойон в гневе заскрипел зубами и затопал ногами, голос его угрожающе зарокотал, предрекая скорую беду.

— Там же я видел твоих сыновей. Я обогнал их, — засмеялся в лицо тойону смелый Кыен. И гордостью за мужа светилось лицо Атхлах.

Затаил злобу Ашх.

И вот жарким летним днем, когда Кыен ловил жирных лососей для юколы, в бок ему впился дротик. Без стона упал рыбак на зеленую траву, которая тотчас побурела от крови. С криком выбежала Атхлах, бросилась к мужу. Не добежала она двух шагов и рухнула на траву со стрелою в сердце.

Они лежали рядом — кровь их соединилась. Сыновья беспощадно выполнили волю отца. Только не смогли уничтожить они охотничью юрту Кыена. Для людей она была сотворена и ничто не могло разрушить ее. Даже огонь гас, как от воды.

Но никто из охотников не появлялся больше в этих местах — боялись злого тойона, и по сей день те места у горячих ключей считаются запретными...

Там же, в острожке у Ключей, у старого и бедного охотника Лемшинги рос сын Ипльх, а в казачьем остроге у приказчика — дочь. Ее тоже, как и меня, звали Любушкой. Красивее Любушки не было девушки во всей Камчатке. Как новорожденный месяц была красива Любушка. Черные, словно смородины, глаза пугливо озирали снег. Искристые, как иней на ели, зубы выглядывали в улыбке. А брови были черные, будто ночь. Многие из сыновей вождей по долине Уйкоаль, с Курильского озера, Карагинского острова и с Олюторы-реки сватались, обещая приказчику горы мягкой рухляди. Но глух и нем был он к мольбам молодых зверобоев, рыбаков и оленеводов. Сыновья самых знатных камчатских казаков хотели породниться с приказчиком, но никому не дал он своего согласия играть свадьбу. Говорят, собрался везти Любушку отец в Якутск-град и там отдать ее за воеводина сына...

Но сердце — вольная птица, ему не прикажешь, его не заставишь любить. А уж если полюбит — пойди поймай и верни назад эту любовь. Полюбила же Любушка Ипльха. Ведь нет дела любви до того, русский или ительмен, коряк или алеут твой любимый.

Не знаю, был ли он красив, да разве за пригожее лицо любят. Не знаю, был ли он богатырем, да разве за силу любят. Знаю, что был он беден, но ведь именно в бедности как страдают, так и любят богаче, чем те, кто от собственного богатства что нищий — ни мыслью понять, ни сердцем ответно отозваться...

Алексей с изумлением слушал свою жену, весь отдавшись ее рассказу, напряженно ловил каждое слово, позабыв обо всем на свете.

— Полюбили они друг друга. На всю жизнь полюбили. Но приказчик выкинул Ипльха из избы своей прочь, лишь тот о чувствах своих заикнулся. Любушка вступилась за своего любимого — и была бита отцом, который души в ней не чаял.

И решили тогда влюбленные бежать из родного дома и жить в тайге, вдали от людей, только вдвоем.

Ночью сели они на нарты, взяли с собой самое необходимое и помчались прочь от тех людей, которые пытались заставить их отказаться от своего счастья, от любви. А разве можно заставить, Олеша, не любить?!

И целый день мчали их собаки по тундре, по тайге. Вдруг, переезжая через горную речушку, нарты провалились под лед. Ипльх успел оттолкнуть Любушку от полыньи, а сам провалился по грудь в ледяную воду. Собаки, нарты, все содержимое стремительное течение утянуло под лед.

С большим трудом самому Ипльху удалось выбраться из воды и тут же мороз сковал одежду в ледяной панцирь. Он замерзал — мороз был такой, что сороки и вороны на лету превращались в мертвую ледышку и падали на землю. И тут Любушка увидела вдали

что-то внешне похожее на жилье. Да, это была та самая юрта, которую построил когда-то Кыен.

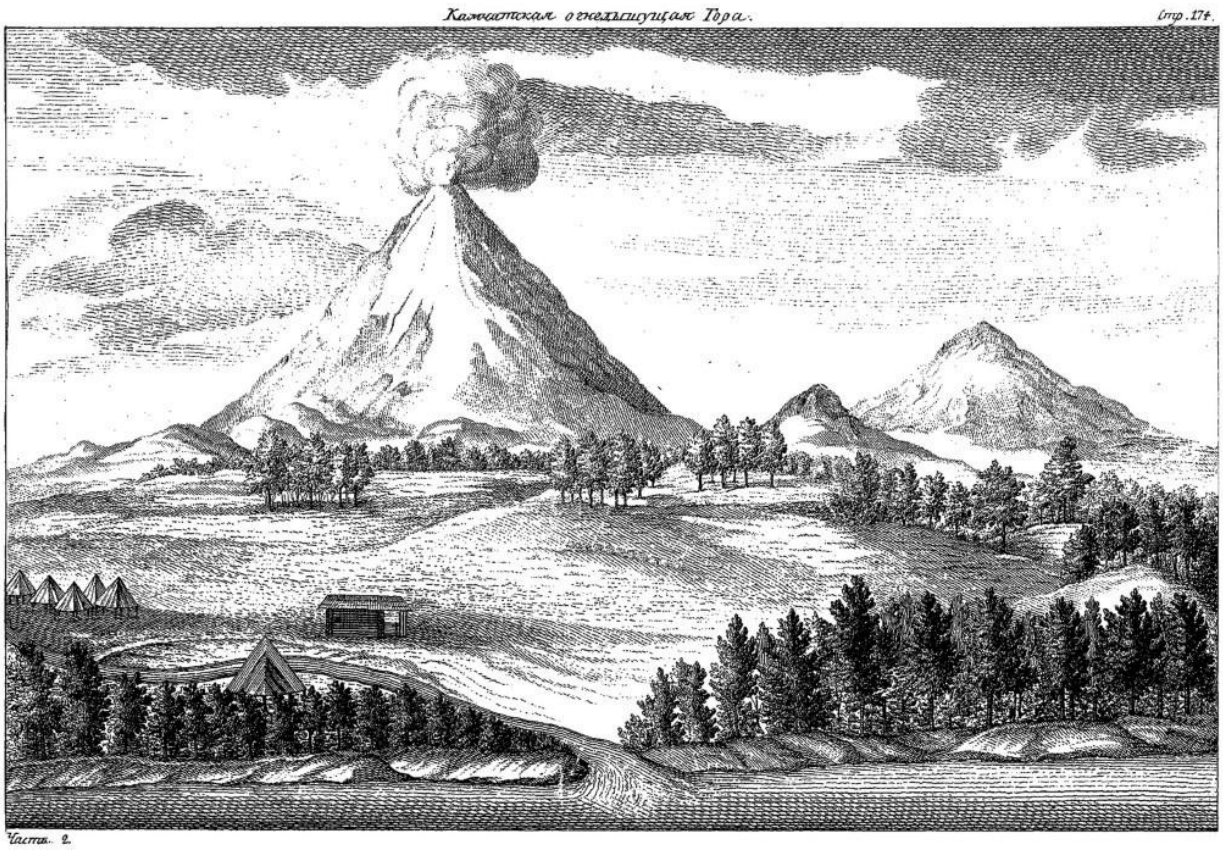
Любушка уложила любимого на ветхие шкуры и развела огонь. Она хотела отогреть Ипльха. Но ему помощь и тепло были уже не нужны. Беспощадный мороз сделал свое страшное дело. Обезумевшая от горя Любушка все надеялась, что огонь оживит ее любимого, и вот уже огромный костер пылал в жилище. При каждой новой охапке дров стена огня поднималась все выше. Но Любушка не замечала этого. Ее занимал только сам огонь — тепло жизни, которое девушка хотела пробудить в любимом.

И вот теперь на этом месте и дымит наша Горелая или Ключевская сопка. Дым от костра Любушки, не переставая, поднимается к небу и напоминает нам, что костер не потух, что любовь вечна. Иногда отчаяние охватывает Любушку. И тогда начинается извержение ее скорби. Она мстит за смерть своего Ипльха... И вновь полыхает этот костер любви...

Алексей слушал, завороженный, а потом обнял и крепко прижал к себе жену:

— Любушка моя дорогая... Зорюшка ясная....

— Ипльх мой, друг сердечный, не бойся за меня в пути — я с тобой, я и наш сын... Только ты обязательно возвращайся...



3.

В тот год «Гавриил» достиг Америки и впервые русские промышленники высадились на угрюмых чужих берегах. Их встретило тревожное безмолвие, и стук собственных сердец эхом отражался от холодных неприступных скал.

А когда застучали топоры и рухнули на землю вековые ели для зимовья, точно кто ударил в огромный бубен, подавая сигнал, и просвистели, предупреждая о хозяевах, меткие стрелы. В ответ громыхнули ружья и черный дым оповестил всех живущих здесь о новой грозной силе, пришедшей с моря покорить сей край.

Так велось испокон веков, и промышленники с «Гавриила» жаждали легкой победы и немалой добычи.

Тогда к ним вышел индейский вождь... Если бы Удачину сейчас сказали, что он спит и вовсе даже не находится в Америке, а на Камчатке, он бы даже не удивился, потому что сейчас перед ним стоял... его собственный тесть Никифор Колегов. Если исключить Никифорову бороду, то сходство было бы абсолютным. Когда вождь заговорил — это был тот же колеговский голос, с той же камчадальской хрипотой и свистом, клекотом и шипением... Но это был все-таки другой человек, из иного, неведомого мира, и говорил он на чужом языке. Никто его не понимал.

— Бледнолицые, — говорил индеец, — я не знаю, пришли ли вы с миром или войной. Если вы пришли с миром — будьте нам братьями. Если пришли с войной — то лучше уходите с миром, иначе вы навсегда останетесь в нашей земле, которая пропитана кровью воинов многих племен — и тех, что живут в вечных льдах и строят себе жилища из снега, и тех, что носят рыбью одежду, и тех, что охотятся в здешних лесах... Мы знаем бледнолицых, которые живут там, в глубине нашей земли, и которые пришли так же, как вы, на больших лодках из тех мест, куда опускается на ночь солнце... Они братья... И вы будете ими! А иначе мы будем биться с вами...

Но никто из русских не понял его гортанную взволнованную речь.

— Ты останешься теперь с нами, — грозно сказал индейскому вождю Удачин. — Будешь аманатом! — и поднял угрожающе свое ружье.

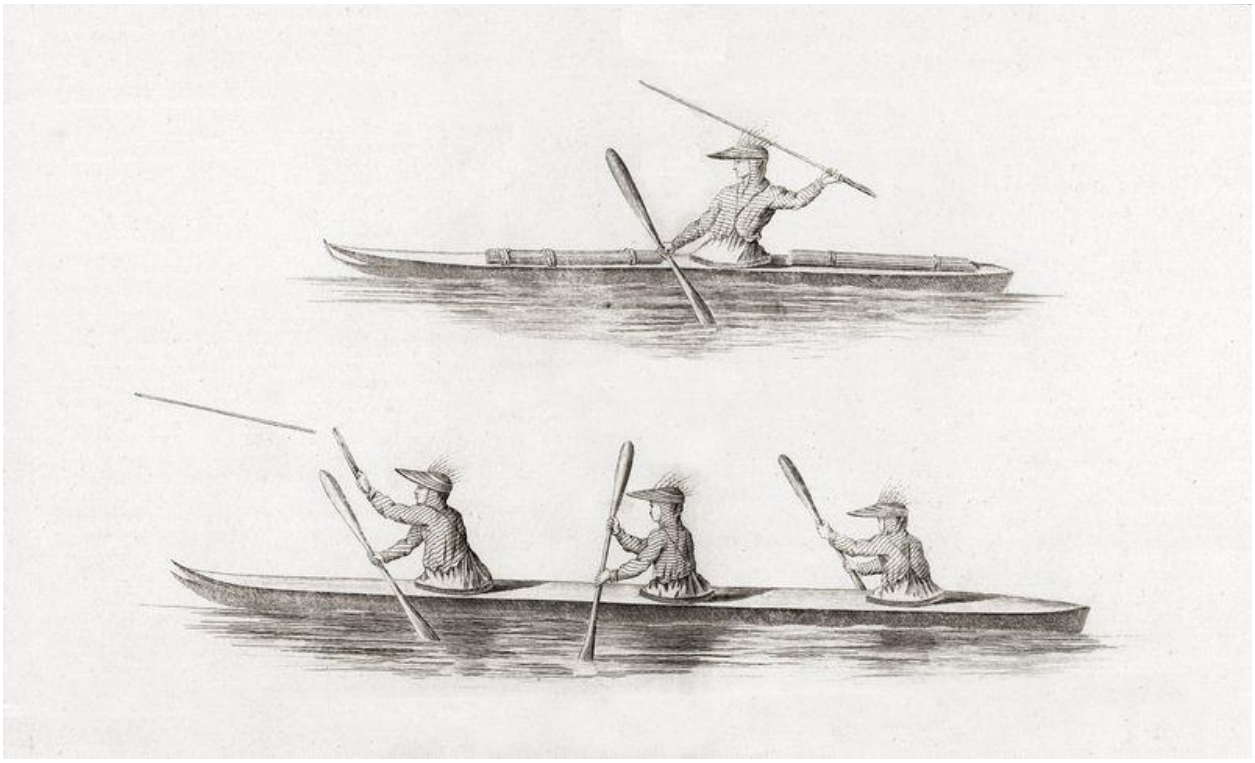
И тут на русский лагарь обрушилась туча стрел. И так не было им покоя всю зиму. Аляску они даже не разведали и думали, что это большой остров. Весной, при первой же возможности, бежали от индейцев на Умнак, но и там не задержались — напуганные промышленники потребовали возвращения домой. 25 сентября 1762 года их вынесло штормом к Шипунскому полуострову на восточном побережье Камчатки и разбило бот о камни в бухте, которая и по сей день зовется Бичевинской в память первого хозяина «Гавриила».

И проклял Алексей этот свой поход. Но весной 1768 года Удачин вновь идет к берегам Америки. Теперь в составе Секретной правительственной экспедиции П.Креницына на галиоте «Святая Екатерина». И не знал он, что за спиной его, точно грозовая туча перед бурей, собирается большая беда: на Камчатке в тот год вспыхнула эпидемия черной оспы — гнилой горячки — и болезнь унесла в могилу многих из тех, кого любил Удачин.

Беда ждала его и впереди. Там, где он сам оставил о русских недобрую память. Зима 1768-1769 года на острове Унимак под самым боком у Аляски стала для многих из экипажа «Святой Екатерины» последней. Тридцать шесть могил появилось в ту зиму рядом с русским лагерем. Люди погибали от лютого холода, голода, от цинги. Помощи ждать было неоткуда — второе судно экспедиции пропало без вести в океане, а на Унимаке, напуганные рассказами промышленников о коварном нраве алеутов и американцев, моряки с «Екатерины» спали с оружием в руках и держали по ночам крепкие караулы, особенно на Аляске, куда неоднократно приходилось выезжать для описи американского побережья. Так что, чем ближе было до весны, тем меньше оставалось на Унимаке русских. Они сгорали, как тоненькие восковые свечи за

полкопейки. Здесь же, на маленьком островке у огромного континента, остался навечно и Алексей Иванович Удачин.



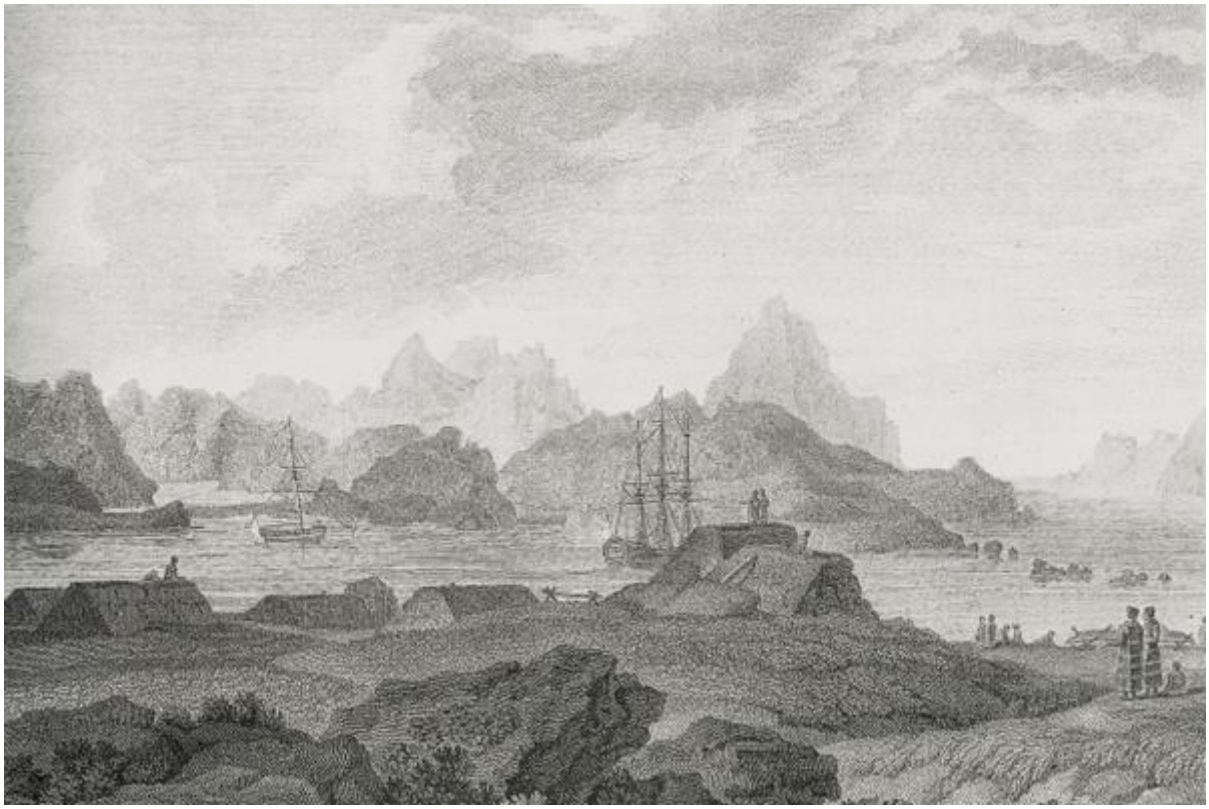




A MAN of OONALASHKA.

Но те же самые дикари, которых он так сильно опасался, пришли на помощь его товарищам. На острове Уналашка, где зимовал экипаж второго корабля экспедиции «Святого Павла», русские моряки обратились с просьбой к алеутам отыскать потерявшуюся «Екатерину» — и отряд в сто байдар по два человека в каждой пошел к Унимаку, с боями пробиваясь через владения соседей. Из ста байдар до Унимака дошли

только две и тотчас с ответным письмом ушли назад, чтобы привести сюда «Павла». Так были спасены остальные члены экипажа «Святой Екатерины» и смогли вернуться назад, благодаря этой помощи воинственных и свирепых туземцев.



На острове Уналашка

Вот так становились братьями американцы и русские будущей Русской Америки.

4.

В тот год не стало и Любушки: черная оспа унесла тысячи жизней камчадалов и русских. Но остался сын. И почти через столетие после этих событий мы находим удивительную запись в дневнике чиновника по особым поручениям при губернаторе Камчатки, неутомимого путешественника Карла фон Дитмара:

«... особенно интересно было для меня знакомство с одним очень старым жителем Ключей, более чем 90-летним крестьянином Удачиным...», который переселился сюда из Нижнекамчатска.

Видимо, не от хорошей доли переселился он сюда — мать с отцом большого богатства не скопили, — тогда промышленники с Аляски привезли всего-навсего 900 бобров, не окупив даже всех затрат казны на этот вояж.

И выбора у Удачина-младшего не было — он переселяется в основанную русскими крестьянами на месте сожженного Харчиным Нижнекамчатского острога деревню — правительство предоставляло переселенцам-хлебопашцам льготы. Так сын вологодского промышленника стал камчатским крестьянином и осел в Ключах, накрепко врастая уже в камчатскую землю, множа династию камчадалов, роднясь с местными жителями полуострова.



Вулканы на Камчатке
(По гравюре 1771 года)

И по сей день многие из Удачиных так и живут здесь, у подножия самого высокого в Евразии Ключевского вулкана, сотворенного любовью казачки Любушки к ительмену Ипльху. Сегодня в поселке Ключи вы можете встретиться с самыми разными Удачиными — рыбаками и охотниками из госпромхоза, овощеводами и животноводами в совхозе, лесорубами в леспромхозе или рабочими лесоперерабатывающего комбината. Многие из Удачиных и их родников стали здесь учителями и инженерами, строителями и механизаторами, избраны депутатами, назначены руководителями... Ведь эта фамилия — Удачины — самая распространенная в городе. А в родственниках у Удачиных чуть ли не каждый третий. Вот такая она, эта фамилия, вологодская, памятная...



Удачины, с. Ключи

ЗЕМЛЯ КАМЧАТСКАЯ

Еще Владимир Атласов обратил внимание на то, как буйно поднимаются по весне камчатские травы. Не успеют еще отзвенеть торопливые ручейки, как начинают раскручиваться на залитых солнцем лужайках тугие пружинки жизни — и вот уже шеламайник поднялся выше человеческого роста и трясет белой челкой, морковник широко и пышно раскинул свои листья, крапива встала стеной, кукольник-чемерица поднялся точно матрешка; борщевик, так тот вообще солнце скрыл... По осени так и вовсе в лес не войдешь: в траве заблудишься. А продерешься — ягоды в лесу том таежном, что виноград — крупные, сладкие — и жимолость, и голубика. Кисло-сладкая рябина — объеденье, княженика — от одного аромата голова кружится, морошка желтоватым аппетитным бочком дразнится, клюква — точно алая капелька на тонком стебельке-травинке... Брусника, шикша-водяника, малина, черемуха, боярка, смородина — дикая и пьяная, настоянная на солнце и аромате трав... А грибы! Ножка точеная, шляпка набекрень... Да в такую землю палку сунь — яблоня вырастет! А если хлебное зерно...

Хлеб — всему голова. Так говорит русский человек. Нет хлеба — и жизнь не мила. А положил краюху за пазуху — и никакая беда не страшит.

На Камчатке не было своего хлеба. Привозили его издали — из Илимского края. Везли не один год. С телег на сани перекладывали. С саней — на нарты. С нарт — в трюмы морских суденышек сгружали. Из трюмов их уже по батам-лодкам раскладывали и по камчатским острогам развозили. То, что доходило до здешних служилых, уже не хлебом — трухой хлебной было. Но и это толкли вперемешку с юколой и как дар божий принимали здесь русские люди... Потому что немыслима наша, русских людей, жизнь без хлеба...

Редьку и репу на Камчатке уже первые казаки выращивали, привозили с собой семена из Якутска — и репа с добрую голову урождалась в камчатской земле. При Беринге посадили морковь, капусту, свеклу и даже огурцы.

А что же хлеб? В Успенской пустыни — монастыре у Горелой (Ключевской) сопки в 1724 году посеяно 18 пудов ржи и получен первый камчатский урожай, который был, как сообщают историки, настолько хорош, что превзошел все ожидания.

И потому 13 марта 1727 года Верховный тайный совет постановил завести в Камчатке хлебопашество, поселив здесь русских крестьян.

Первую партию поселенцев набрали в Братском остроге. Набирали насильно. А народ не желал срываться с насиженных уже мест и идти куда-то на самый край земли. Но никто о желании этого народа и не спрашивал — это были государственные крепостные, принадлежащие казне... И потому ни один из братских крестьян не дошел даже до Охотского порта: кто в дороге своей смерью помер, а кто бежал в тайгу на вольное житье...

В 1731 году в Илимском уезде командир Охотского порта, ссыльный, а когда-то сподвижник Петра I, бывший президент Морской академии и бывший же прокурор Сената Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев распорядился набрать новую партию крестьян и под караулом, выполняя правительственный приказ под страхом самого сурового наказания, доставить их в Охотск.

Но дело затянулось — в Якутске Беринг перехватил партию переселенцев и велел им заниматься работами по снаряжению Второй Камчатской экспедиции. Восемь долгих лет провели бывшие илимские крестьяне в столице северо-восточной окраины империи. В 1740 году 34 семьи все же прибыли в Охотск и 24 из них в 1741 году были, наконец, доставлены на Камчатку и расселены вблизи трех казачьих острогов: У Большерецкого — в устье реки Быстрой при Трапезниковой заимке, выше по Быстрой у Карымаевского ительменского острожка, а также при самом Большерецком остроге; у Верхнекамчатского — на реке Шигачик и Милковой; и на месте прежнего Нижнекамчатского острога, который до 1731 года располагался у Горелой сопки рядом с Успенской пустынью.

И начались... годы мучений. Особенно туго приходилось тем крестьянам, которых поселили у Большерецкого острога вблизи Охотского моря, — в течение двенадцати лет подряд хлеб у них «вызябал» и, в конце концов, они забросили все свои опыты и их в 1758 году перевели на реку Милкову, где, хоть и не часто, не каждый год, но получали, иногда даже очень неплохие, урожаи ячменя и ржи, если только не убивало — а это было часто — посевы туманами ранних камчатских заморозков.

А переселение крестьян на Камчатку продолжалось — небольшие заимки по две-три семьи появились на реках Аваче, Тигиле, севернее устья реки Камчатки. Крестьяне прикладывали немало усилий, чтобы превратить Камчатку в земледельческий край, но суровая природа не спешила поддаваться им и сводила на нет все их попытки утвердиться на этой земле.

И исчезали заимки. Администрация переводила неудачливых хлеборобов в наиболее благополучные земледельческие районы полуострова — в долину реки Камчатки. Но и здесь, несмотря на то, что к крестьянам были приставлены даже специальные смотрители из военных чинов, дела шли, мягко говоря, не ахти. Хлеба или не вызревали, или вымачивали и выбивали их дожди, гноили на корню, а если и выстаивали они до августа — убивали своим страшным дыханием заморозки...

И потому камчатские крестьяне привыкли за годы постоянных неудач оценивать свою работу как нечто несерьезное в жизни, как обузу. А главным стали для них здесь, как было это для местных жителей испокон веков, — рыбалка (заготовление еды для семьи и корма для собак, без которых на Камчатке зимой и шагу не ступишь) и, конечно, охота, то есть заработок на жизнь, основная статья дохода камчадалов. Так и повелось... И настолько тесно слились эти бывшие русские крестьяне с ительменами долины реки Камчатки, что не только по образу своей жизни, но и по языку, внешнему виду, обычаям не отличались они друг от друга. Разве только что в русских селах был выборный староста, а в ительменских острожках — тойон...

Но земледельческие опыты все же продолжались, хотя никто на Камчатке не видел в них ни толку, ни проку — зерно по-прежнему везли сюда издалека и по-прежнему на полуострове толкли юколу пополам с хлебной трухой. Рады были и этому: пуд хлеба, купленный за рубль в Иркутске, на Камчатке стоил уже четырнадцать рублей.

В 1812 году Петропавловск становится главным русским портом в северной части Тихого океана. В 1816 году командиром Камчатки был назначен Петр Иванович Рикорд, который сделал много хорошего для жителей Камчатки. И он тоже не оставлял мысли, что полуостров может производить собственные сельскохозяйственные продукты. При нем были построены в Петропавловске даже теплицы и снят первый урожай огурцов — 320 штук.

Он завез на Камчатку и коров (правда, первая пара была завезена сюда еще в 1733 году, но развития животноводство тогда не получило) — и при Рикорде коровы были уже в 50 камчатских селениях.

При нем же начало развиваться на Камчатке и огородничество: в 1821 году Петр Иванович был избран членом-корреспондентом Московского общества сельского хозяйства. С помощью общества и директора Ботанического сада Ф.Б.Фишера он получил различные семена и раздавал их камчадалам, устраивая ежегодно выставки овощей. При Рикорде огородничество сдвинулось практически с мертвой точки: были получены урожаи не только свеклы, картофеля (он на Камчатку завезен еще в 1773 году командиром Камчатки Магнусом фон Бемом), репы, редьки, огурцов, капусты белокочанной, а также красной и кольраби.

В 1822 году срок службы Рикорда на Камчатке закончился, но его все же не оставляет мысль о будущем сельского хозяйства края, и он решает взять с собой в Москву двух камчатских недорослей Ефима Лазарева и Егора Черных, чтоб отдать их в Земледельческую школу при Московском обществе сельского хозяйства.

В 1829 году Е. Черных и Е. Лазарев закончили эту школу и, совершив кругосветное плавание, вернулись на Камчатку агрономами.

Здесь в зти годы условия благоприятствовали обоим для самой творческой работы — в 1828 году на должность начальника Камчатки вступил большой любитель сельского хозяйства капитан 1-го ранга Голенищев-Кутузов. Он даже учредил камчатскую сельскохозяйственную компанию на акциях, которая в 1831 году была утверждена правительством.

Но компания — конечно, громко сказано. Денег вместе со взносами акционеров, правительственной дотацией и пожертвованиями Московского общества сельского хозяйства хватило лишь на то, чтобы заложить опытное хозяйство на реке Аваче, где был построен Хутор компании.

Весной 1831 года проведены первые посевы. Но лето, как назло, выдалось холодным, дождливым, а осенью ударили заморозки и от этих посевов почти ничего не осталось.

В 1832 году чиновник по части сельского хозяйства коллежский регистратор Е. Черных посадил на трех десятинах двадцать восемь пудов ячменя. Весна была ранняя, но всходы были все-таки поздними. В первых числах августа ячмень заколосился, а 12 августа его побил иней.

Кроме ячменя были посажены в небольших количествах овес, полба, ярица. С осени 1831 года посеяны рожь ваза, озимая русская пшеница, «калифорнийская». В огороде, при доме,— ячмень обыкновенный и гималайский, овес, полба.

Полба даже не взошла. Овес начал колоситься, но побит инеем, ярица также погибла от ранних заморозков, как и озимые, и рожь ваза.

Тепла не хватало — растения росли очень медленно и потому не доживали до той поры, когда вызревало семя.

Но опыты продолжались. На третий год всходы были уже гораздо лучше, но урожая снова не было...

В 1834 году Е. Черных переходит на службу в Российско-Американскую компанию. В 1840 году распадается камчатская земледельческая компания...

А что же Ефим Лазарев?

Прибыв с Е. Черных на Камчатку, он «обнаружил отличные познания и в течение ряда лет занимался опытным хлебопашеством и огородничеством то около Петропавловска и Большерецка, то на западном берегу Камчатки, и одновременно давал инструкции и наставления другим земледельцам».

Но и у него с хлебом ничего не получилось. Тогда Лазарев пошел по другому пути: он занялся разведением огородных культур и достиг на этом поприще несомненных успехов — при нем огородничеством начали заниматься уже по всему западному побережью от Большерецка до Тигиля. А картофель теперь выращивали не только на самой Камчатке, но и на Курильских островах. В 1845 году, получив семена из Германии, Лазарев добивается сногсшибательного результата — урожай «камчатского хлеба» — картофеля — составил сам-70 и даже сам-100, то есть от пуда семян 70, а то и 100 пудов урожая. И это в те годы, когда по Поволжью, Приуралью и северу Великороссии гуляли во всю «картофельные бунты». В 1847 году картофель выращивали уже во всех острожках Камчатки вплоть до Дранки на востоке и Лесной на западе.

Но все эти успехи ни в малой степени не отразились на судьбе камчатского агронома: если Черных вовремя поменял службу, то Лазареву через десять лет его безупречной службы предлагают отставку, так как хлеба он все-таки не вырастил...

Но опять же эта, столь живучая в правительственных центрах, мысль о камчатском хлебопашестве вносит свои коррективы в судьбу первого камчатского агронома. Министр государственных имуществ Киселев распорядился: «...по случаю определения в Камчатку агронома Кегеля (для продолжения этой хлебной эпопеи — С.В.) для окончания опытов по сельскому хозяйству я нахожу неудобным уволить ныне чиновника Лазарева, потому что он может быть с большой пользою употреблен в дело, порученное Кегелю, по

приобретенной им опытности и знанию края, а потому полагал бы предоставить его в распоряжение агронома Кегеля в качестве помощника».

И еще семь лет продолжались бессмысленные опыты, пока Кегель в том же 1847 году, когда Камчатка была полностью «картофелезирована», не был отозван с полуострова.

Но и после его отъезда вопрос о камчатском хлебе оставался открытым. К сожалению, мы ничего не знаем о дальнейшей судьбе первых камчатских агрономов — Е.Черных и Е.Лазарева, но в 1853 году по проекту царя Николая I предлагалось новое переселение крестьян на полуостров. Теперь, по проекту, здесь должно было осесть сразу 1000 семей крестьян. Осесть и дружно наладить дело, которое не удалось на протяжении более чем столетия. Проект не был реализован — завезли на Камчатку всего 25 семей крестьян, которые недалеко от Хутора основали новое камчатское село под символическим названием Николаевка. Вот и все — и так же, как ключевские или мильковские крестьяне в долине реки Камчатки, николаевские тоже очень скоро стали охотниками и рыбаками, напрочь отбросив все крестьянские хлопоты и заботы.

Перед революцией была предпринята еще одна попытка возрождения сельского хозяйства — рядом с Петропавловском была организована сельскохозяйственная ферма, где наряду с опытами по разведению камчатского племенного стада крупного рогатого скота шли и земледельческие опыты, которые проводил Иван Федорович Голованов, бывший член II-ой Государственной Думы, осужденный на каторгу за принадлежность к социал-демократической фракции, а затем сосланный на Камчатку. Здесь он после установления Советской власти стал членом ВКП(б) и много лет занимался подъемом сельского хозяйства на полуострове.

Так что до революции так ничего и не вышло с получением на Камчатке сельскохозяйственной продукции в промышленных масштабах.

Но задел все же был сделан. В 1929 году на Хуторе бывшей земледельческой компании был организован демобилизованными пограничниками первый камчатский колхоз имени 16 партсъезда. Здесь же, на Хуторе, появляется в 1930 году первый камчатский трактор «Фордзон», купленный в подарок первому колхозу полуострова моряками с камчатского парохода «Орочон» в Америке. В 1932 году на Хуторе создается первая камчатская моторно-тракторная станция, а затем, уже на базе нескольких колхозов, создается один из крупнейших в области совхоз «Пограничный».

В те же годы наконец удалось укротить и строптивый нрав камчатской природы — в долине реки Камчатки, посыпая весной поля золой, увеличили на целый месяц сельскохозяйственный сезон и получили хорошие урожаи сначала ячменя, а потом и других «камчадалов» — злаковых — ржи и пшеницы. На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве камчатский хлеб в тридцатых годах был отмечен золотыми медалями. По утверждению корреспондента «Правды» Харитановского в начале шестидесятых годов камчатским хлебом обеспечивалось и соседнее с нами побережье Охотского моря.

Но урожаи хлеба на полуострове все-таки никогда не были стабильными — таков уж климат Камчатки, а она сама — зона, быть может, чрезвычайно рискованного земледелия. И потому надежнее и выгоднее сегодня покупать хлеб для полуострова у соседей — в Канаде и Австралии, а на Камчатке взять ориентацию на животноводство и овощеводство — то, о чем заботился Рикорд и для чего он решил завести на Камчатке собственных агрономов.

И снова мы можем пройти с вами дорогами первых камчатских ученых-землепроходцев.

В 1929 году был организован первый на полуострове совхоз — «Камчатский пионер имени И. В. Сталина». Совхоз был создан на базе опытной фермы, практически полностью разоренной белогвардейцами в 1922 году, и ориентирован на животноводство и овощеводство. В этом современном крупном пригородном совхозе — «Петропавловском» — все начиналось со 107 голов крупного рогатого скота, 156 лошадей, 386 овец и свиней, 266 кур. Все это было привезено с материка. Тракторный парк совхоза «обладал» 700 лошадиными силами...

Большерецк... Здесь в следующем, 1930 году создается совхоз имени В. К. Блюхера — сегодняшний совхоз «Большерецкий»...

Да, не пришлось первым камчатским агрономам праздновать свою профессиональную победу, хотя и были у них большие удачи. Их официально снова и снова заставляли переориентироваться все на то же хлебопашество, и опыты, конечно, были обречены на неудачу, как и вся хлебопашеская практика дореволюционной Камчатки, и никто из администрации так и не пожелал думать, что главный камчатский хлеб — это картофель, который щедро родит камчатская земля, животноводство — на камчатском разнотравье и кормовых культурах, овощеводство — как на открытом грунте, так и в теплицах... До будущего не было здесь дела никому! И потому ученые агрономы, получая семена из Иркутска и Москвы, сажали в землю ярицу и полбу, выполняя инструкции и, не веря ни в какой успех, пропагандировали, учили, заставляли своих земляков поднимать камчатскую целину и выращивать капусту и репу, морковь и картофель...

БУТИНЫ

В КАМЧАТКУ

Петр зло топорщил усы, слушая дьяка Сибирского приказа Андрея Виниуса — казна скудела, а о камчатском ясаке снова, уже который год, не было никаких вестей: то-ли застрял он где в пути, то-ли вовсе пропал в дикой тундре...



— Нет, — твердо решил государь, — тот северный путь из Камчатки негож. Длинен и опасен. Нужно пробивать новую дорогу. Морем Ламским. Через Охотский острог. И нужны тут мне верные люди. Настоящие мореходы. Россияне. Поморы. Эти выдюжат. Так что пиши указ...



Русский корабль в Северном Ледовитом океане.
Иллюстрация к книге Сигизмунда Герберштейна «Записки о московитски

Лабиринт.ру



Суда поморов

Сказано — сделано. И в 1714 году через всю страну тысячеверстную пошли из Архангельска к морю Ламскому русские мореходы Никифор Тряска, Кондратий Мошков, Яков Невейцын и Иван Бутин. В Тобольске сибирский губернатор князь Гагарин положил им жалованье 40 рублей в год и по 5 рублей кормовых. В Якутске их разделили на две партии — Тряске с Невейцыным надлежало искать морскую дорогу на Камчатку, а Бутин с Мошковым должны были открывать новые земли в Восточно-Сибирском море.

Но через три года их снова свела всех вместе Петрова воля — царь приказал якутскому воеводе Якову Ельчину стать во главе большой экспедиции, пройти сушей и морем земли русские на востоке, описать новые, незнаемые, что — по слухам — имеются противу устьев рек Лены и Колымы, Камчатки и Охоты, Пенжины, Анадыря и Амура... Денег на то приказано не жалеть, людей брать по надобности, мореходами назначать тех архангельских мужиков, что отправлены в Якутск еще в семьсот четырнадцатом...

Но только закрутил Ельчин все «экспедичные» дела в Сибири, вышли первые партии казаков-землепроходцев к устьям северных рек кочи рубить и шитики китовым усом вязать для морского плавания, и отправить первые суденышки из Охотска к Шантарским островам и из Большерецка на Курилы, как повязали воеводу по злому доносу-наушничеству, свезли в Москву, в канцелярию тайную, и сгиб он где-то там во время пыток по государеву «Слову и Делу».

И остановилось колесо, так лихо им раскрученное. Но только не для мореходов-архангельцев — те по-прежнему несли государеву службу и торили дороги в море Ламском, били первые тропки через Курильские переливы в море Восточное, к острогу Нижнекамчадальскому.

И не только нрав моря-океана познавали они. Много открывалось им и жизненной горькой правды. И не одно испытание выпало на их собственную долю в камчатской земле.

Так, в 1725 году Никифор Тряска, первопроходец, открыватель пути из Охотска в Большерецк, доставил на Камчатку нового приказчика Трифонова. Правда, на этот раз до Большерецка им дойти не удалось: штормом лодию выбросило на берег в устье р.Ичи. Трифонов добрался до Большерецка пешком, а Тряска по весне уже привел в Чекавинскую гавань отремонтированное судно. Спешил мореход — судно обязано было вернуться в Охотск в срок. Но у приказчика к этому времени созрели уже иные планы — он вовсе не собирался упускать столь прекрасную возможность задержаться на Камчатке еще с годик и добавить за зиму сотню-другую дорогих шкурок к тем, что уже успел скопить за год владычества — раз лодия течет, то пускаться на ней в обратное плавание никак нельзя. Нужна была одна мелочишка — документ. А его мог подписать только мореход.И тут как раз в Большерецке оказался Иван Бутин. Трифонов с ним хитрить не стал, да и чего хитрить, когда каждому ясно — так, дескать, и так: пиши бумагу, отблагодарю, как полагается... А Бутин напрямую — лодия хороша, Тряска мореход искусный, никакой шторм тебе, Трифонов, не страшен... Возвращайся спокойно...

Аж взвился Трифонов от злости...

— Ты что это? Забыл, где находишься? Да я ж тебя... с живого шкуру чулком сниму! Запорю-ю!.. В порошок прикажу растереть и по ветру развею... Пиши акт!

Но не тут-то было. Характер у архангельца — только огонь кресалом высекать. Посадил его Трифонов в казенку — все без толку. Стращал морехода — сгноить здесь вместе с камчадальскими заложниками-аманатами обещался. И, действительно, нагляделся здесь Бутин страданий человеческих: годами сидят аманаты с Авачи-реки и

с Воровской, с Курильских островов и с Бобрового моря в тюрьме этой — солнце в окошке видят, некоторые за буйный характер кандалами скованы, иные, словно собаки, цепями к стенам привязаны — это те, кто бежать пытался из неволи. Многие заложники — дети камчадальских или курильских вождей; под угрозой их смерти родники безропотно платят ежегодную дань пушниной. Вот они — законы камчатские! Кого хочешь в подкову согнут... или сломают. Но только не помора Бутина — тонка кишка у приказчика...

Трифонов и сам это понял. Тогда он решил с другого бока подладиться. Выпустил Бутина из казенки, обласкал, повинился за грубость и резкость, пригласил по-товарищески, запросто в гости и, как это водится по всей Руси великой, «вусмерть» упоил бравого морехода. Усладил слух его, в любви и дружбе поклялся, и скрепили они эту дружбу фальшивую фальшивым же актом о непригодности лодии Тряски к плаванию по Охотскому морю. А поутру поздно было уже что-либо исправлять, стыдно земляку в глаза смотреть. И запомнил теперь на всю жизнь, как действуют камчатские казаки — где силой звериною, а где — ласкою змеиною...



Поморская лодия во льдах – ее выдавливало на поверхность без каких-либо повреждений.

2. ЗА ПЕРЕЛИВЫ

Гирлянда островов, один другого меньше, убегала в океан от мыса Лопатки на полдень. Нога первого русского человека ступила на эту землю в 1711 году, когда взбунтовались на Камчатке казаки, перебили приказчиков — кое-кого и просто живьем в прорубь головой сунули — за лихоимство и жадность до мягкой рухляди, жестокость и насилие над людьми. А за грех свой перед царем — убийство государевых слуг — решили

казаки положить к ногам царским земли новые. Так и пригодилась пригоршня островов скалистых — сняла один грех с души казацкой и открыла дорожку к новым.

Стали эти острова вскоре вотчиной сына боярского Матвея Новограбленного. Ухватился он за Курилы крепко. Жил здесь вольно. Ясак ему такой же, как и царю, платили. Да к тому ж подарками-чащинами сын боярский тоже не брезговал. Били для него курильцы гусей и уток, рыбу впрок заготавливали, крепкие байдары строили, сладкую траву под вино пудами квасили...

Должники холопами становились — зверя для хозяина били, пушниной богатство его увеличивали, жен и дочерей для прихотей господских готовили, а он, в свою очередь, непокорным и гордым слугам своим батожьем спины расписывал.

И не знал меры Матвей. Спускал казаков своих, как собак с цепи, не только на инородцев, но и на любых непрошенных гостей, даже если они царским указом путь себе сюда прокладывали. Как Соловей-разбойник встречал их на своей земле Новограбленный. И удивительно ли, что перехлестнулись их пути-дороги с Бутиным, и не разошлись казак с мореходом, а столкнулись они лицом к лицу, как в кулачном бою. Сохранился о тех давних временах один любопытный архивный документ. Давайте и мы заглянем через него в прошлое.

« ...731 году апреля 12 дня, как прибыли к нам курильские ясачные иноземцы с байдарами, и я прослышал от лутчего князца курильского Ломчи, жалобу на служилого человека Лариона Волынкина, который был послан от ясашного сборщика Матвея Новограбленного для приуготовления кормов и байдар, что де он, Волынкин, чинил им многие обиды...

Апреля 13 дня прибыли мы с байдарами, не дошед Озерной реки, например, версты за две за противным сильным ветром, стали на берег и означенный сборщик Новограбленной, схватив копье, учал бить толмача моего, помянутого Еремеева, копьем обранил у него правую руку, токмо не душевредно, в ладонь, и говорил: по какому де ты, росткая мать, указу спрашиваешь ясачных иноземцев про мои обиды, якобы он про его императорского величества указа не известен и чинит такую противность, понеже в указе блаженныя и вечно достойной памяти его императорского величества написано: велено посланной партии в отдаленных от Якутцка краех о обидах и разорениях ясачным иноземцам следовать, а по исследствии, ежели кому от прикащиков, подъячих, толмачей и служилых людей были какие обиды, то обидимым обидимое возвращать, а кто обидел, тем чинить наказание. А означенный Новограбленной, знатно, что ведая над собою некакие неиправы перед иноземцами, кажет вид, якобы над собою большинства и суда не имеет...

Да он же, Новограбленной, похвалялся, что я де вам байдары не дам, а к нам байдару привел означенный князец Ломча... Да он же, Новограбленной, говорил мореходу Ивану Бутину: я де тебя и толмача вашего на острова не возьму, а им от партии по данной мне инструкции велено быть при мне, и для того я их не оставлю...»

Да, схлестнулся уже где-то мореход-правдоискатель с сыном боярским. Проходил он Первым и Вторым переливами, огибая Лопатку, прокладывая дорогу из Большерецкого острога в Нижний. Бывал и на островах Курильских на зимовках. Не раз спускался и на юг вдоль гряды в поисках спокойного тихого перелива. И насмотрелся обид и слез инородческих вдоволь. Настрадался от чужой боли. И потому был здесь, на островах, свидетелем весьма опасным.

Чутье не подвело Матвея — пришлось ему ответ держать за все свои преступления. Но выдюжит — не в пример брату Василию, запоротому до смерти — отлежится, как медведь в берлоге Матвей, откупится курильскими бобрами и лисицами и вывернется из

рук правосудия, как скользкий речной вьюн: сохранят за ним те же судьи и прежнее место ясачного сборщика на Курильских островах.

И снова не побрезгует сын боярский чащинами кунными...

3. КРЕСТНИКИ

Белые барашки курчавились на зеленоватых волнах. Огромное желтое солнце полыхало над морем, чужое и нарядное. На него и смотреть было не больно... Красиво. Но при этом наваливалось на душу что-то тяжелое.

Навстречу шла буря. Крепчал уже ветер, ударяя в борта байдары, прошитые китовым усом, обтянутые кожей морского зверя, словно пробуя их прочность.

Курильцы гребли свободно и ровно. Тойон Ломча правил байдарой с помощью длинного кормового весла. Встречный ветер не позволял поставить парус, но байдара шла довольно быстро.

Курильцы были необыкновенно красивы сейчас: бронзовели их лица, бисеринки пота выступали на широких полосах выбритых от уха до уха голов, яркими жемчужинами сверкали россыпи брызг на косах и больших, по грудь, бородах.

Особенно красив был тот, что веслил рядом с Бутиным: молодой, сильный, с агатовым блеском чуть выпуклых глаз. Видно было, как перекатывались его мускулы под рубахой из шкурок гагары, как могуче дышала грудь.

А волны вздымались все круче. Насвистывал ветер, ударяя своими могучими крыльями по гребешкам волн. Мокрыми концами он мазнул по лицу священника из Большерецка. Тот суетливо закрестился, отплевываясь и испуганно поглядывая на Ивана: уж не погибель ли наша!? Потом что-то быстро начал говорить тойону Ломче. Тот отрицательно покачал головой. Борода священника дернулась угрожающе, и он ухватился одной рукой за тяжеленный серебряный крест на массивной цепи, другой, что так и побелела на косточках, за борт.

Тойон опять покачал головой и достал какую-то деревянную чурку и швырнул в волны.

— Ту-ту-ту! — закричал он пронзительно.

— Вот чертовы язычники, — выругался про себя Бутин, — везут на остров попа, чтоб всем веру христианскую принять, а сами божков этих своих, инау, в море швыряют, жертву богу моря приносят. Вот и перевоспитай нехристей...

Ближе к острову стало тише. Ветер успокоился и улетел. Упала волна. Вмиг стихло — только там, в проливе, вставали между морем и землей радужные мосты, бушевали, сталкиваясь и расшибаясь в огненные брызги, волны.

Скоро они догнали еще две байдары. Те, видимо, возвращались с охоты — были загружены нерпичьими тушами. Эти байдары были побольше — одних весел торчало на каждой штук двадцать. И гребцы другие — головы не бриты и промысловики сплошь безбородые. «Молодняк, что-ли, — подумал Бутин. — Постой-постой, да это никак ихние бабы!..»

А те гребли мастерски: их байдары, хотя и глубоко сидели в воде, шли в кильватер, почти не отставая.

А вот уже показались и балаганы — летние шалаши, поднятые высоко над землей, в защите от наводнений и комаров.

Острожек курильский ничем не отличался от камчадальского: те же балаганы на длинных ногах-столбах, те же врытые в землю юрты без окон и дверей с единственным отверстием в крыше для дыма, и для людей.

На берегу Бутин кликнул молодого гребца со своей байдары:

— Как звать-то тебя, мореход?

— Атуйка.

— Это что? Море, по-вашему! Морской, значит!? Хорошее имя. А тебя? — спросил он стоящую рядом с Атуйкой молодую женщину.

div>— Казукчь.

— Это как же?

— Плачущая, — ответил за жену Атуйка. — Она родилась в тот год, когда на Кыкше, которую вы Большой рекой зовете, ее родники из Каначева острога были казаками перебиты за сожжение Большерецкой крепости. Подобрали ее мои родники и на Шумшу привезли.

Бутин потемнел лицом. Крякнул сердито. Потом попытался перевести разговор на другое.

— А что это у вас остров так зовется? У остальных имена все на «шир» или на «котан», может этот тоже Шумшир правильно?

— А это камчадалы прозвали. Шумшу — это значит остров Черемши.

— А вас почто курильцами кличут? Наверно от того, что сопки горелые вокруг курятся дымом. Вот и Курильские острова, потому и вы — курильцы?

— Нет, куру по-нашему — это человек...

...Пока Бутин расспрашивал инородцев о том, о сем, поп подготовил все для крещения. Для этого и пересекли сегодня Первый Курильский перелив на чипеме-байдаре, хоть и грозился Новограбленный их пикой заколоть за то, саблей на кусочки порубить, из фузеи головы подырявить... Как же — он же здесь для них и за святителя. «Нет уж, — решил Бутин, — крестим сами, как в Киеве когда-то — река им всем сразу купелью будет, но не позволим Матвею и на вере святой барыш сбивать. Это надо же — по два-три года ему за крещение крестники отрабатывают. Вот ужо действительно научился Матвей по-новому народец этот грабить...»

Высоко поднял рыжебородый поп свой крест, отполированный рясой над тугим брюшком до блеска зеркального. Лучилось в нем солнце, впивались в глаза огненные змейки-молнии, юркие, шустрые, неугомонные, и казалось простоватому мореходу, что великое таинство снисходит на этих людей с неба, чудо божественное...

А рыжебородый, блаженно жмурясь, подсчитывал прибыль церковную от крещения и не благодать уже отпускал недавним грешникам, а заталкивал в кожаные мешки шкурки собольи да лисьи, бобровые и нерпичьи. Хихикал про себя от радости, что всех надул, и торопился побыстрее все закончить.

Бутин принимал из купели новообращенных в православие — Атуйку, Казукчь, Татала, Чекаву... «Сколько же их, Бутиных, теперь на этом курильском острове с камчадальским именем», — спросил вдруг вслух.

— Иван, — точно позвал кто в ответ.

А это бывший Атуйка, а теперь тоже Ванюшка Бутин, подсчитал — шесть растопыренных пальцев показывает. Вон оно как: по-курильски иван — это шесть значит... Чудно! Иван Иванов Бутиных — шесть Иванов... Потеха!

А на обратном пути байдару у Камчатки снова прихватила буря. Суетливо крестился испуганный поп, цепко держась незанятой рукой за мешки с пушниной. И вдохнул с тайным облегчением, когда полетел в волну деревянный божок и прокричали дружно с байдары курильцы, заклиная уже бывшего своего бога.

— Ту-ту-ту.... Бери-бери-бери...

И мчалась байдара сквозь шторм, и спокойно и мощно работали веслами ее гребцы — мореходы Бутины...

4. «СВЯТОЙ ГАВРИИЛ»

— Нет, не показался мне Беринг еще в первую экспедицию... Ходил я с ним уже к незнаемым землям, — рассказывал мореход Бутин охотским казакам, когда зашел между ними разговор о назначении капитана-командора Витуса Беринга начальником Второй Камчатской экспедиции.

— Дак пошто не показался-то? Ведь сам Петр Алексеевич, государь наш, его на ту должность определил. А тот дураков не любил, лентяев — слышал — самолично сек, а тех, кто указы его не выполнял, в каторге гноил... А этого он ведь из всех своих офицеров морских выбрал...

— Выбрал! Говорил мне Скорняков-Писарев, а он ведь прежде, до ссылки в Охотск, при царе-батюшке близко состоял; так вот, он говорил, что ни шиша хорошего у этого Беринга на службе и не было. Так себе был. Неприметный. Звезд с неба не хватал. Таких, как он, немцев этих всяких, полно и по сегодня во флоте российском. И Беринг тот, сказывал мне Григорий Григорьевич, обиделся, что его по службе за просто так не двигают, и написал рапорт об отставке... Он-то, видать, думал, что теперь-то его заметят, выделят... Ан нет — ему возьми и дай полный пенсион... Схватился было за голову капитан, а корабль-то уже от причала отвалил, не допрыгнешь. Пишет он тогда новый рапорт — не могу, дескать, без моря, примите меня назад, не за чинами, мол, гонюсь, а по великому делу во славу России душа горит. Просто кошель уже совсем прохудился, а где еще, кроме нас, его еще так золотом набить можно. Дали ему корабль, но в чине прежнем так и оставили. И ничего — стерпел, промолчал, в себе обиду затаил, как гвоздь внутрь вбил. И не видно, вроде, а вот покалывает...

— Да брось ты, Иван, наговаривать. Ведь другому же не доверили?! Ведь целую экспедицию... Это же сколько тыщ стоит?! Значит, знал царь за ним что-то такое и доверил...Наверно, охочих тоже хватало — дело-то богатое!

— Э, служилые... Все проще оказывается, если хоть немного в мореходном деле разуметь. Еще по молодости, юнгою, бывал Беринг в заморских дальних странах, там, где другие моряки, что у нас служили, никогда не были... Вот почему царь Беринга и выбрал. А иностранцев, которые на службе нашенской не состояли, он пригласить не мог — дело-то секретное. Нужен был свой, а Беринг хоть и не очень в службе радел, но во флоте русском уже не один год служил, так что, считай, свой и был...

— А пошто он тебе-то, Иван, к душе не пришелся? Вроде ты не привередлив... Или это совесть опять у тебя затронули? Так рассказывай, не томи душу домыслами и россказнями чужими... Чего тебя самому в Камчатке не понравились?

— С самого что ни на есть начала все дело наше там наперекосяк пошло. Прибыли в Чекавку — в устье Большой реки — отказался Беринг идти Курильскими переливами в Нижний острог на реку Камчатку. Шторма, говорит, не могу экспедичными грузами

рисковать. А чего не идти — прошли бы. Хаживали уже — знаем. И слушать не захотел. Но мы — что, промолчали, послушались. Перечить начальству не стали, да и что говорить, коли он со старыми здешними мореходами совета не держит. Обидно стало. Позже поняли мы с Мошковым — он тоже к этой экспедиции был прикрепленным, — что обижаться глупо было, надо было настоять на разумном, а то через обиду нашу пришла в Камчатку беда большая. Приказал Беринг камчадалам — все, что сгрузили в устье Большой, перевезти на батах, пока река не встала, в верховье, а потом — нартами по зимнику в верх реки Камчатки и по ней весной снова на батах в Нижний острог, где мы в это время «Гавриил» строили... И слезьми кровавыми заплакала та земля. Ни с чем не посчитались — сорвали камчадалам промыслы кеты и кижуча по осени, а это главный корм и для людей и для собак. И всю голодную зиму — вместо охоты — занимались они каюрной гоньбой, перевозили грузы. Поморили собак. Остались без пушнины. Беринг пообещал, что снимет с них ясак за эту зиму. Куда там — казаки с них вдвое и втрое против прежнего взяли, а Беринга в тую пору уже на Камчатке и не было.

Бот «Святой Гавриил»

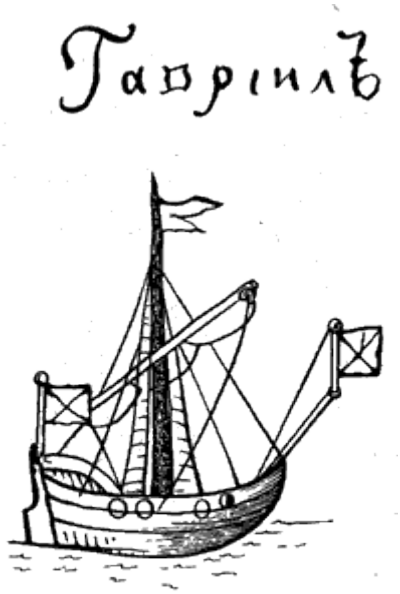


РИС. 8.
Бот «Святой Гавриил».
Рисунок XVIII в.
[ЦГАДА, ф. «Портфели Миллера»]



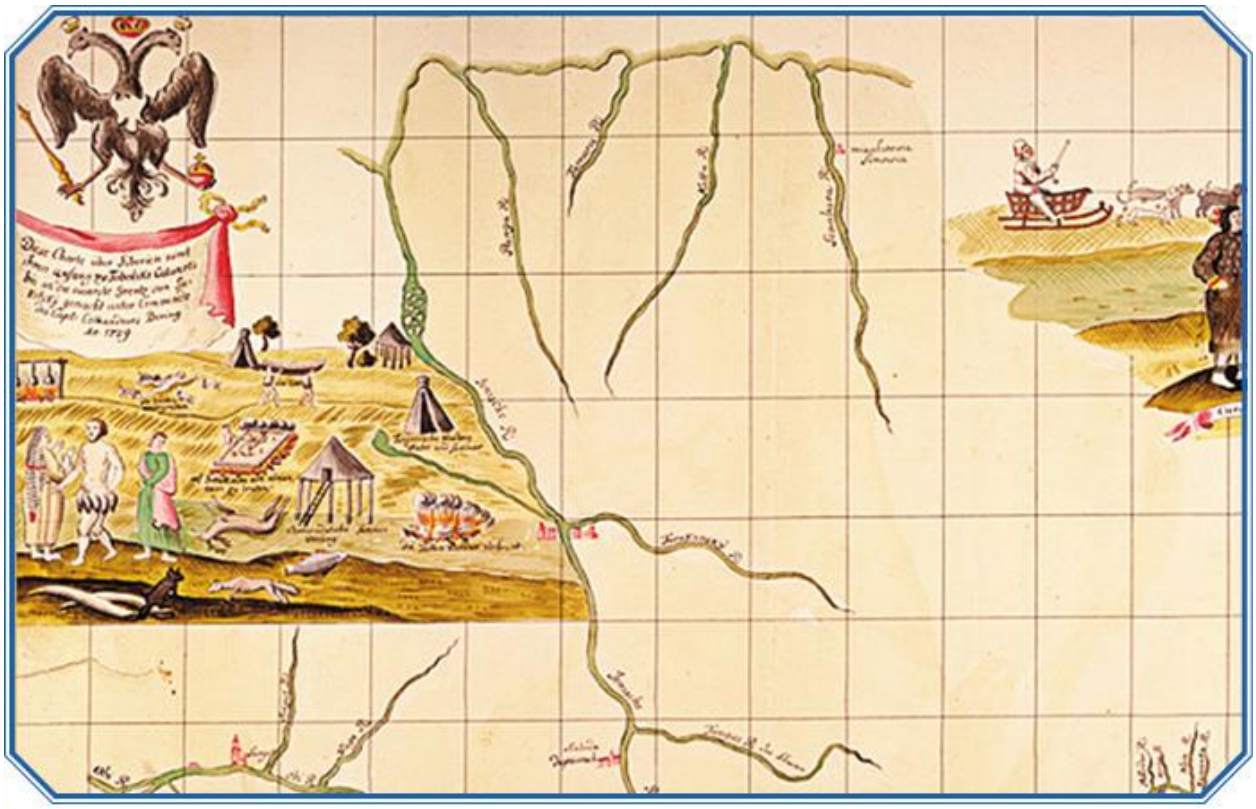
А пока мы «Гавриил» выстроили — камчадалы стоном изошли. И так худо людишки живут: зимой в земляных юртах по сотне, а то и по две — набьются, отогреваются, давятся. Кормятся рыбою да травой разной... А долгов у них ... — и за то, что юколы нужное число вовремя не сдали, и за иван-чай, и за сладкую траву для вина, за рыбу свежую, за имя христианское... — за все расплачиваться пушниной надобно. А кто не успеет долг заплатить, так все — холоп, и дети, и жена, в собственность казаков переходят... А тут — мы промыслы все сорвали — попробуй заставить казака долг свой перенесть. Ему ж и в радость, что инородец теперь в жисть не откупится, а значит зверя бить теперь будет только для него, а сам вещью станет: его теперь и отдать, и продать, и в зернь проиграть можно, не совестно... А казаки, конечно же, как мухи после нас налетели...

— Ну, это и не Беринга вина... Так по всей Сибири испокон веков деется. Кто ясак собирает, тот и владычествует. А Беринг при чем — он свое дело делал, приказ царский сполнял...

— Ладно, приказ так приказ. Ушли мы с Камчатки именно за тем, чтобы, как ты говоришь, царский приказ исполнять. И исполнили бы, черт возьми, да все тот гвоздик в Беринге. Что им со Шпанбергом, таким же немцем, интересы российские? Это не Тряска с Мошковым, которые, выполняя волю Петра Алексеевича, просолились здесь насквозь, дороги морские прокладывая... А Беринг ткнулся носом в туман и побоялся далее на норд идти... Вроде бы приказ выполнил — в море-то ведь он вышел! А кому послужило то

добром? За что, скажите, камчадалы те страдали в своей земле? Чем покрыли мы те страдания и сняли грех с наших душ?!

Чириков — молодец! Он настаивал на том, чтобы шли мы дальше. Ведь русский был, и сердце у него за дело болью исходило, как и у нас с Мошковым... Но решили немцы... А чего рисковать? Какая им с того выгода? Нет впереди ничего — и все. А не веришь — пойди проверь. Ага, проверишь, думали — лет через тыщу Россия еще такое плавание осилит... Так что руки чисты. Отряхнул он их только от морской водицы, прошелся на следующий год гоголем у устья реки Камчатки — остров искал, о котором камчадалы сказывали — не нашел — и упорхнул в Санкт-Петербург докладывать о подвигах.



Карта, составленная Берингом в 1729 г., по результатам Первой Камчатской экспедиции

А в Камчатке инородцы, доведенные уже до отчаяния расплатой за долги, спалили Нижний острог и собирались остальные также попалить. Вел их Федька Харчин, знал я его по Нижнему, грамотный, тойон ихний, крещеный... Не щадили русских они: веры к ним не было. Огнем горела земля. И огнем горела душа камчадалов — и все это заливали кровью...

Был вот в Нижнем недавно — на новом месте его отстроили — вешали там бунтовщиков... Смотреть больно было...

Казаков-супостатов тоже за бунт тот не миловали: кого повесили за лихоимство, кто под батогами богу душу отдал...

А Беринг вроде как и ни при чем... Но кто ему за ту экспедицию спасибо скажет...

— Ну, теперь вторая вот собирается.. Ошибки и исправятся...

— Ошибки прошлые исправлять будем, — мрачно отозвался Бутин. — Какой же теперь ценой нам подвиги его станут...

— Ты, Иван, не в лавке, где славою за копейку торгуют, — оборвал его писарь. — Царице Анне Иоанновне видней. Россия сама потом слово свое скажет. Мы — народ маленький, подневольный, не все и понять можем...

— Может оно и так, — устало согласился Бутин, — но ведь не доживешь до той поры, когда это слово сказано будет. А мне сейчас правду крикнуть хочется... Ведь снова все бедой обернуться может...

5. СИЛА КУПЕЧЕСКАЯ
(рассказ старого промышленника)

Никифор Трапезников.... Да-а, тот уже в годах был. Высокий. Костистый. Широк в плечах. И с силою великою в руках — монеты может и не гнул, но тыщами лихо ворочал. Такого богатства с Камчатки и всех островов Алеутских, что тогда были известны российским мореходам, никто больше его не вывез.

В конце тридцатых годов, сказывали, когда сержант нижнекамчатский Емельян Басов просил его дать денег на морскую промысловую экспедицию на Курилы, отмахнулся купец от него, как от комара надоедливого, дескать, здесь и без тебя как-нибудь обойдемся: Новограбленный не только мехами обеспечит вволю, но и уступит в цене достаточно, ибо награбленное всегда перед упромышленным в цене ниже, так зачем, стало быть, и поднимать ее.

А вот когда Басов в Нижнекамчатске сколотил все же «складственную компанию» и пошел на промыслы, а главное, когда следующим летом он привез оттуда на своем шитике тыщу с лишком шкур морских бобров и четыре тысячи песцовых шкур, то Трапезников чуть не умер от зависти — побелел весь, зубами заскрежетал и тотчас из своего Большерецка в Нижний махнул. Успел-таки — отхватил у Басова часть паев. Хотел Никифор и в море с ним пойти, хозяйским глазом окинуть островные те богатства на Командорском острове да на открытом Басовым — Медном, но передовщик заартачился и не взял купца. Видно, старая обида глаза застилала. А зря — у купца силы в руках поболее было. Перекупил он все паи и шитик его стал. Басова — в шею. Да тот, правда, уже и сам от промыслов отошел и вроде как тронулся немного: все про медь самородную с острова Медного твердил, камушки собирал там какие-то все цветные, красивые и других заставлял собирать. Видано-ли, тут промышлять надо, а он, как дитя несмышленое... Ну, это от богатства: он тогда на бобрах хорошие деньги сшиб и мог запросто сам новую компанию организовать и первым среди купцов стать — все при нем было. Но тот отров Медный, что он сам открыл, и погубил беднягу. Вызвал он сюда из самой столицы ученых людей всяких. Поискали они, поискали — ерунда, говорят, а не медь на том острове. Им ерунда, а с него, сердешного, за прогон тот все до последней копеечки по суду вынули. Но не согнули казака беды черные, а может он тогда уже и вовсе того — тронулся умом — или это мечта так крепко была в него вколочена, только он ради всего этого острова Медного из меди той завезенной налил денег фальшивых... Тогда упекли милосердного в Иркутскую канцелярию, а оттуда уже путь один — на Нерчинскую каторгу колодником... Там и помер, говорят...

А Никифор Трапезников с той поры крепко ручищей своей за острова дальние ухватился. Пятнадцать, не совру, плаваний на свой кошт снарядил. И никто его не перекрыл. Куда там...



В семьсот сорок девятом, помню, оснастил он «Бориса и Глеба». Сам передовщиком на нем пошел, но дальше Командорского идти забоялся, упросил морехода Бутина. Тот как раз пенсион стал получать — чего ж не сходить, говорят — еще с покойным Берингом ходил в здешних местах. Так и пошли они с Трапезниковым — и прямо к Атхе вышли. Ну, опять озолотился Трапезников — остров-то еще никем прибран не был, зверь непуган, народ алеутский никто из наших не задирал... А Трапезникову как передовщику два пая, да хозяйская доля — половина всего, остальное уж нам, промышленным... Да что там — иной раз хоть и с богатой добычей в трюмах, но с пустыми карманами возвращались — по долговым запискам всяким еще и должны оставались: за все втридорога драли с нашего брата купцы камчатские. И счастлив ли был, не знаю, тот, кто живым назад приходил. Путь же от устья реки Камчатки до Атхи, Уналашки и Аляски костьми русских мужиков выложен, и компас в тех краях ненадобен: чайки белые — души мореходов — выведут точно на курс. А на дне океанском — кладбище православное, так что умирать легко, если уж шторм сломит тебя, перевернет шитик, разобьет его о волну крутую. Как в битве. Оттого смерть нашу грешную, попами неотпетую, и предпочитает мореход русский встретить среди волн великих, звезд, рассыпанных, как горох, по небу, соленого ветра, ядреного, как брага, и крика чаячьего, такого же тоскливого, как плач любимой...

И по сей день омывают волны косточки мореходов русских. И люди это были великие. Духом своим отчаянным. И деньги эти трапезниковские для них бренчанием кабацким были — из одного кармана купеческого в другой же его карман и пересыпались... Деньги-то свое отбренчали, а слава тех мореходов по всем землям разошлась. И кто из русских людей не помянет добрым словом святые для нас имена мореходов Евтихия Санникова, Дмитрия Наквасина, Родиона Дурнева, Степана Глотова, Луки Наседкина, Ивана Бутина...

Да, великая сила была в руках этого купца иркутского...

6. РОССИЯНЕ

Командир Охотского порта полковник Плениснер, в подчинении которого была Камчатка, летом 1764 года прибыл в Большерецк.

Чиновники большерецкой канцелярии встретили его с большим любопытством: все уже знали, что командир Камчатки — капитан-поручик Извеков — не желает признавать власти Охотска, будучи поставлен на эту должность по именному указу.

Не признавал Извеков за начальника и Плениснера. Потянулась скандальная история, долгая и нудная, как и вся жизнь в том Большерецке. Дело дошло до того, что по долгу службы уже не разговаривали, а переписывались между собою офицеры, и при этом успевали строчить не только друг другу зловредные записочки, но и друг на друга — в Иркутскую канцелярию и Сенат.

Плениснеру было о чем писать: замордованное Извековым население Большерецка боялось даже выходить из домов, когда командир Камчатки с пьяной компанией проходил по заросшей луговой ромашкой единственной улице камчатской столицы — он мог без всякой причины избить до бесчувствия любого, невзирая на возраст, пол и чин. Особо неполюбившихся приказывал наказывать по морской традиции — он был морским офицером — линьками. Священник Большерецкой Успенской церкви Петр Логинов, попытавшийся было сказать свое слово против насилия на проповеди в церкви, был посажен под домашний арест — прихожанам запрещалось как приходить к Логинову домой, так и принимать его у себя. Извеков даже отдал специальный приказ, по которому христианам разрешалось церковь не посещать и постов не соблюдать. Купцам-грабителям за крупные взятки Извеков предоставил бесконтрольную власть на полуострове. В нарушение всех высочайших циркуляров он даже единственную камчадальскую привилегию — выбирать себе вождей — отменил, и теперь за собольи шкурки можно было сместить любого вождя, сослать, разлучить с семьею, выпороть, засадить в казенку, где лет тридцать, а то и сорок назад сидели последние аманаты.



На задворках камчатской столицы – Большерецкого острога (английская гравюра, которая называется «Capital of Kamchatka»)

Плениснер не нашел поддержки ни в Иркутске, ни в Санкт-Петербурге. Сам же он, будучи начальником, отрешить Извекова от должности не мог — нужно было отменять

указ Сената. Единственное, что удалось добиться полковнику — это восстановить утраченную было камчадальскую привилегию — назначение вождей вновь было предоставлено верховному тойону — по царскому указу это право принадлежало теперь тойону Бутину, и никто не имел права вмешиваться в его распоряжения. В подтверждение силы его полномочий Бутин был записан в сибирские дворяне.

Но Извекову, получившему негласную поддержку Сената, было теперь на все наплевать — он отказывается от рукоприкладства и переходит строго на линьки и кошки. Каждый день в Большерецке кого-то пороли — лишь тойона Бутина и священника Логинова не трогал командир, но смотрел на них зверем. Безропотный было большерецкий люд в конце концов потерял всякий страх — это была уже пороховая бочка, к которой стоило поднести лишь спичку. Дело оставалось за малым и в Большерецке вспыхнул бунт, объединивший и камчадалов с казаками, и священника с отшатнувшейся паствой, и матросов с казенного судна, и простолюдина с чиновниками...

К удивлению всех, Извеков сдал власть миром. Но через несколько дней, когда все поуспокоилось, с компанией своих приверженцев напал на Большерецкую канцелярию, сверг нового начальника, расставил караулы, навел на площадь пушки и устроил пиршество, знаменуя победу.

В Большерецке набатом загремели церковные колокола. И снова по воле верховного тойона камчадалы стали в одни ряды с казаками и солдатами. Свергнутый начальник Камчатки поручик Рахвалов отдал приказ, и ринулись в едином порыве на штурм извековской канцелярии бунтари-россияне...

Разбежались караульные, как мыши по норам, молчали наведенные на толпу пушки... Грянули наземь выломанные дружным натиском двери канцелярии и испуганный Извеков «со товарыщи» сдался на милость победителей и тотчас был отправлен на казенном судне в Охотск под караулом на следствие и суд...

Но недолгим было торжество в Большерецке. За год до бунта казак Тарабыкин завез на Камчатку черную оспу — она унесла здесь тысячи жизней русских и камчадалов. В 1769 году из-за недохода рыбы обрушился голод. Через несколько лет беда похуже: прибыл из Охотска начальник края полковник Козлов-Угренин для знакомства с владениями (на самом деле для грабежа и пьянства) и этой своей поездкой довел камчадалов до полной нищеты — один только его возок могли тащить от острога до острога не меньше двухсот собак. После него солдаты генерал-майора Сомова снова завезли на Камчатку оспу...



«Поезд» на собаках…

Запустела земля дальняя, некогда славная непокорными гордыми племенами камчадальскими и курильскими, обезлюдела. Встряхнулась еще окраина, напомнила миру о былой славе, когда вместе с солдатами, матросами и казаками сбрасывали камчадалы в Авачинскую бухту англо-французский десант.

Но прошли и те времена. И годами равнодушия и забвения обрушились на Камчатку оставшиеся полстолетия XIX века — сложенными воедино бедами всех прочих лет. Хлынули сюда со всех сторон купцы самых разных национальностей и гильдий, рыбопромышленники, китобойцы, золотоискатели, авантюристы всех мастей, все, кто желал воспользоваться возможностью безнаказанно пограбить заброшенную российскую окраину...

И не было дела правительству царскому ни до дикой и забытой Камчатки, ни до всей великой России-матушки...

7. ОПОЛЧЕНЦЫ

Лейтенант военно-морских сил Японии Гундзи знал, что делал. Свои мысли он высказывал достаточно откровенно, и они ни на йоту не расходились с имперскими замыслами Страны Восходящего Солнца — на многих официальных японских картах Камчатка была раскрашена точно в тот же цвет, что и острова благословенного микадо.

Гундзи желал войны. Осев в 1895 году на Шумшу и превратив остров сначала в пиратский центр, откуда каждую весну лавина шхун и пароходов обрушивалась на камчатские побережья, чтоб перекрыть путь на нерест драгоценному лососю, а затем и в центр предстоящей военной агрессии на северо-востоке. Здесь рождались планы оккупации и отторжения полуострова от России, здесь Камчатка рассматривалась как военный трофей назревающей войны: кто же возразит против, если на материке и на океане Россия безнадежно слаба и понесет абсолютное и несомненное поражение.


Симсю на этой тынъ писанныхъ словъ:
именно эта земля уже принадлежит
Японiи, поэтому кто этого тронетъ
это тынь будетъ убитъ.
Командиръ Японской войска
Сечу Гундзи

Объявление Гундзи в с. Явино – «эта земля уже принадлежит Японии».

Был ли повод для высадки военного десанта на безоружной Камчатке? Чего проще! Допустим, вот такой — на Камчатке в Явино и Голыгино живут подданные великого императора — курильцы, которых хитростью выманили с Симусю русские. Вот и хорошо, что они поселились на Камчатке. В таком случае высадка десанта — не что иное, как военная помощь своим соотечественникам.

Но согласятся ли сами курильцы признать отечеством Японию, а не Россию?

В ответ на это Гундзи всегда одинаково усмехался — криво и презрительно:



Сечу Гундзи

— Кто их об этом будет спрашивать... Мне глубоко безразлично, что думают об этом они сами. Главное, что об этом думают у нас, в Японии. И этого вполне достаточно.

...Разведчики проползли кочковатую, мокрую от дождя тундру и затаились среди зарослей шеламайника на ближней к устью реки Озерной сопочке. Вязкий туман чуть рассеялся, и они увидели впереди японский лагерь, расположенный рядом с рекой. Поодаль, на косе, ближе к разведчикам, стояли две пушки, возле них виднелись часовые. Две шхуны стояли в реке, третья — в море, недалеко от берега. В лагере было оживленно: там, видимо, встревожились из-за долгого отсутствия их командира Сечу Гундзи...

Иван Бутин, голыгинский староста, злорадно усмехнулся, вспомнив, как сцапали ополченцы япошку. Тот перебредал через речушку Итудиску и не заметил, что из

шеламайника за ним наблюдают, стерегут каждый его шаг. И пискнуть не успел, как обняли бережно, прижали к земле и повязали камчадальские ополченцы своего «освободителя».

Перед командиром Максимом Ивановичем Сотниковым предстал он достаточно помятый, но бравый еще, с форсом. По-русски заговорил без переводчика:

— Я японский командир... буду вас сильно убивать и мучить... Мои солдаты будут всех стрелять...

Сотников его успокоил:

— Сначала мы их постреляем. Вот тебя искать пойдут, разделятся, мы и вдарим кому-нибудь из них в лоб. А ты вот лучше так же браво отвечай-ка на мои вопросы. Это ты, что-ли, в Явино написал и вывесил на столбе доску: «Смысло на этой тынь писанных слов: именно эта земля уже принадлежит Японии, поэтому кто того трогает этот тынь будет убиты. Командир японской войска Сечу Гундзи»?

Японец кивнул утвердительно.

— Ну, так тронь вон его, — Сотников указал на явинского Бутина, — это он его из земли выкорчевал.

— Я покорил эту землю, буду промышлять рыбу и управлять айну, — хлестнул Гундзи злобным взглядом по явинцу. Тот пренебрежительно сплюнул в ответ и врезал кулаком прямо посередь глаз японца.

Бутина оттащили, но он долго еще возбужденно выкрикивал:

— Дети наси безали из Явиной из-за них... Семнадцать дней в сопках бедовали... голодали... церес рецки перебирались... Цуть не погибли из-за иродов... Убить надо... Дайте приконцу его...

Явинский староста Дмитрий Игнатьев уговаривал родника:

— Ницего... Он узе беззубый, не укусит. А патроны береги, Бутин, скоро больсая охота будет... Мы им всем за грабез в Явиной пулей заплатим...

Гундзи, который хорошо знал русский язык, прослужив несколько лет на Камчатке приказчиком, и бешенстве зашипел:

— Вы подданные японского императора и бежали с Симусю незаконно. Мы водворим вас всех назад и заставим работать на Японию.

Сотников на этот раз прикрикнул на Гундзи менее миролюбиво:

— Прищеми язычок, пока тебе его не отдавили. И слушай сюда, чтоб внести полную ясность в твою самурайскую голову, поясню официально. Все курильцы, живущие на Камчатке — подданные России, согласно договора 1875 года по размену Курильских островов и Южного Сахалина. Так что ты ври-ври, да не завирайся. Согласно договору, переселение с островов всех желающих — всех! — должно было происходить в течение трех лет, но они уже в 1875 году с Шумщу и Парамушира перебрались на Камчатку на байдарах. Остальных через два года доставил клипер «Абрек». Все курильцы поселены в Голыгино и Явиной. Так что они как были подданными государства российского и веры православной, так тому и верны остались.

И сейчас, самурай, они родину свою защищают, и никогда ты их «тыном» своим не покоришь... лучше, вон, юшку под носом вытри...

...Разведчики у Озерной увидели, как из японского лагеря вышел отряд. Сотников был прав — японцы разделились на две группы: одна оставалась на старом месте, другая — двинула к Итудиске. Теперь можно и самим уходить в верховья Итудиски, в сопки, где был ополченский штаб. Здесь сейчас ждали от них вестей голыгинские, большерецкие, явинские камчадалы, русские рыбопромышленники и отставные младшие офицеры. Вскоре к ним присоединились и мильковские дружинники, пришедшие из долины реки Камчатки.

С объявлением войны между Россией и Японией сами жители Камчатки — на полуострове не было никаких воинских частей — создали народное ополчение — дружины, чтобы отразить ожидаемое нашествие давних своих врагов — японских хищников. И здесь, в верховьях этой маленькой речушки, обдумывали сейчас план боя курильцы, камчадалы и русские — все, для кого эта земля была неотъемлемой частью родины.

Сотников настаивал на том, чтобы решение о бое было общим. В протоколе записали: «Хотя наше вооружение и несравненно слабее, но пойдем, братцы, прикажем им сложить оружие, а нет — отомстим хищникам-японцам... Храбрым, братцы, бог владеет».

Семнадцатого июля 1904 года они спустились с верховий Итудиски и подошли к передовому японскому лагерю. Сначала отправили туда пленных японских солдат, которых поймали вместе с Гундзи, с ультиматумом о сдаче. Но японцы в ответ открыли огонь. Тогда ополченцы навалились на них со всех сторон и к четырем часам утра японский отряд был полностью разгромлен. Пятеро ополченцев были ранены в бою, один — русский крестьянин Ксаверий Бируля — смертельно.

И это не был последний бой в тот год в районе Озерная-Большерецк. Продолжались они и в 1905 году. Все попытки японцев высадиться на камчатском побережье были отбиты: это была единственная победа в русско-японской войне.

Наиболее отличавшиеся в боях дружинники были награждены крестами и медалями. Георгиевскими кавалерами стали и курильцы — явинский и голыгинский старосты Дмитрий Игнатьев и Иван Бутин.

И о них, камчатских ополченцах, эти слова историка И.И. Огрызко: «Тот факт, что Камчатка по Портсмутскому договору осталась за Россией, является огромной заслугой самого населения полуострова, которое в грозный час войны взялось за оружие...»

8. ПОРАЖЕНИЕ

О том, чтобы завладеть богатствами Камчатки, японцы мечтали давно. И основания у них для того, вроде бы, были — ослабевало влияние России в тихоокеанском бассейне: проданы в 1867 году Соединенным Штатам Америки за 7 миллионов 200 тысяч долларов Аляска и Алеутские острова, сданы на двадцать лет в аренду американскому торговому дому «Гутчинсон Кооль и Ко» Командоры с котиковыми и бобровыми лежбищами... А в 1875 году произошел размен с Японией Южного Сахалина на Курильские острова. Теперь жадные руки самураев тянулись к Камчатке.

В 1906 году, после того, как народные ополченцы отстояли полуостров, была подписана русско-японская рыболовная конвенция сроком на 12 лет. Японцы теперь получили право на промысел камчатского лосося. В 1907 году они арендовали уже 74 участка на камчатском побережье, в 1918 году — 320, а в 1922 — 490...

Через подставных русских промышленников они проникали и в устья нерестовых камчатских рек, облавливая их так, что голод обрушивался на камчадальские поселения.

Уже в 1908 году японцы, промышляющие у берегов Камчатки, объединяются в союз «Рорио Суйсан Кумиай». В 1914 году образовалось новое, более мощное, акционерное общество «Ничиро Гио Гио Кабусики Кайша», которое к 1921 году поглотило все более мелкие общества и союзы, монополизировав всю японскую рыбную промышленность на Камчатке. В этом же году учреждено и специальное отделение общества «Ничиро» — «Хокай Сейкай Сооко Кабусики Кайша», которое занималось производством консервов из камчатского лосося. В 1923 году на полуострове было уже 23 рыбоконсервных завода, 22 из которых принадлежали японцам или их ставленникам.

В 1919 году японцы, чувствуя себя полными хозяевами на полуострове, заключают торговую сделку с американской фирмой «Робинзон Фишерайс и Ко» на поставку камчатской трески и за короткий срок, начиная уже с 1920 года, приступили к эксплуатации 40 тресковых участков, не считая известной Явинской тресковой банки, где с 1860 года вели браконьерский промысел сами американцы.

На юге полуострова, на траверзе Явино и севернее, действовали краболовы. На островах Шумшу и Парамушир работало 14 крабоконсервных заводов. По данным самих японцев, восемьдесят процентов всех консервов из камчатского краба изготавливались ими на плавучих заводах, которых, в свою очередь, снабжали краболовы, ведущие хищнический промысел у самого побережья западной Камчатки, в русских территориальных водах.

Помешать им камчадалы были не в силах. В стране шла гражданская война, и японцы пользовались этим, как могли, наведя для острастки на камчадальские берега стволы дальнобойных морских орудий со своих крейсеров. А чтобы иметь оперативную связь между берегом и своим военно-морским флотом, в наиболее важных промысловых районах установили японские радиостанции — в Усть-Камчатске, Мономахове, Усть-Большерецке, Явино...

Над жителями Камчатки нависла реальная угроза голодной смерти...

9. ПОБЕДА

Весть о том, что где-то на какой-то Камчатке можно за одно лето заработать огромные деньги в невиданные для дореволюционной России сроки, достигла запорожских краев. Почесали в затылке селяне:

— А дэ ж така?

— Нэ бачив... Хто ж ее знает...

Но подумали обществом-громадою и решили послать в те края на общественные деньги грамотного и пронырливого Алексея Потужного.

Через год пришла в Запорожье весточка: «Собирайтесь, мужики, озолотитесь. Приезжайте насовсем. Не пожалеете. Устроитесь у промышленника Грушецкого. Не прогадаете. Будем рыбу ловить. Ее здесь столько, что реки из берегов выходят. Ей-богу, не вру...»

Еще раз собрались обществом мужики. Снова заскорузлыми пальцами чесали затылки, дергали вислые усы; тяжело, точно корчуя пни, выворачивали из себя слова. «И что думать — может, хрен редьки не слаще и за тысячу верст, так что сиди уж лучше

дома, да перебивайся, как прежде, на заработках у мироедов-кулаков...» «А может, правду, все-таки, люди о той Камчатке говорят...»

Людская молва — она, как огонь в выстоявшейся ржи: чуть искра — и пламя уже небо буровит. А тут, видно, и вовсе добрая головня попалась — собрались все же мужики запорожские и через всю страну на край земли оттопали, на самый этот Дальний Восток, а летом 1910 года привезли их на пропахшем рыбой пароходике в устье западнокамчатской реки Озерной, и до глубокой осени ловили рыбу, солили сухим японским посолом, штабелями под самое небо выкладывали. Тут же, на правом берегу реки, рыли землянки, готовились к зиме. Куда теперь отсюда рыпаться: запорожские халупы попродавать пришлось, чтоб до земли этой далекой хватило силушки добраться. Так и поселились на берегу реки Озерной семь первых украинских семей — Костенко, Бровченко, Шараева, Могильного и три семьи Потужных.

Зима ударила по-камчатски обыкновенная. Для них же — страшная. Охотское море разгулялось не на шутку: того и гляди вспененные космы шторма накроют землянки. Ледяные ветры сковали голую землю. Тяжелые туманы вымораживали промозглой сыростью. А вскоре и пурги запели свою тоскливую до жути песню.

Но это полбеды — сопки были сплошь в кедраче, так что огня и тепла держать в землянках можно было вдосталь. Капало, правда, точно в дождь, но это мелочи...

Беда пришла, когда начали кончаться продукты. И если б не камчадалы из Явино, то вместо тех землянок осталось бы в Озерной семь семейных могилок. Спасли явинцы запорожцев. А потом и промыслу дикого зверя обучили, как шкуру снимать, чтобы мездру не попортить, жир удалить, капкан поставить, медведя из берлоги поднять, рыбу в море поймать...

И к 1912 году, когда Камчатка, впервые за 200 лет, была открыта для свободного поселения, запорожцы стали уже опытными рыбаками и охотниками, сами стали камчадалами. А рядом, по рекам, появились новые русские села. Здесь же, на левой стороне реки Озерной, промышленник Грушецкий завод построил, вокруг него тоже свой поселок образовался — дали ему имя Унтербергерово в честь генерал-губернатора Приамурского края, которому Камчатка в те годы подчинялась.

Промышленники раззадорились на рыбу даровую — понаехало их сюда великое множество, большинство, конечно, на японские деньги орудовали — и рыбаков нанимали, японские снасти им выдавали, а соленую рыбу в Японию вывозили. Запорожцы отдавали свой улов на рыбоконсервный завод Грушецкого. А другие солили рыбу сухим посолом прямо на берегу моря, чтоб потом грузить на пароходы. Рядом с Озерной три таких участка имел промышленник Люри. В Опале заведовал промыслами Миронов. А в Кошегочике — Чюрюкин... Так что хозяев, как на Украине, скоро стало через край. На них все лето и надрывались без продыху. Ведь за рыбу и мануфактурой обеспечивали, и продуктами...

Ловили в реках. Море японцы занимали. Туда и не совались — и не умели, как они, и не на чем было в море выходить.

А тут революция в России, власть Советская, и побежало время с такой скоростью, что просто диву давались — и пяти лет не прошло, как последний белый убрался отсюда, а уж в устье реки Озерной отгрохали в 1928 году государственный рыбоконсервный завод. Поселок Унтербергеровский переименовали в Озерновский, а свое село Озерное запорожцы попросили переименовать в Запорожье. Их просьбу уважили.

По традиции, сложившейся в то, давнее уж, голодное время, ловили в Озерной рыбу для нового завода запорожцы и явинцы вместе. А в 1930 году создали совместный рыболовецкий колхоз «Красный труженик» и совсем породнились: центральная усадьба

в Запорожье, отделение — в Явино, откуда постепенно начали переселяться в Запорожье, родниться кровью...

Росло и крепло Запорожье. С организацией колхоза появилась возможность и для выхода на промысел в море. Сначала с берега — японцы, согласно конвенции 1928 года, обязаны были обучить камчадальских рыбаков постановке морских неводов.

Невода эти в те годы, понятно, дрянь были — труха, а не невода. Вместо якорей привязывались мешки с песком. А те на Камчатке — драгоценность: ведь мешковина на одежду, порты и юбки шла. Дели на починку неводов — не сыскать. И тогда наконец вспомнили, как камчадалы в древности из крапивы нитки сучили, веревки вили и сети из них вязали — вот таким образом из безвыходного, казалось, положения выходили и готовились к путине. Но и это оказалось напрасным — ты колхозом двухкилометровый невод осилишь, а японцы перед ним свой в два раза длиннее выставят, перекроют рыбе ход и лишь только прорвавшаяся в реку рыбка в колхозные сети попадалась, а невода русские часто поначалу стояли пустые. Японцы же гребли рыбу и посмеивались над тем, как по усам нашим течет наше же богатство, а попадает в чужой рот...

Умудрялись, конечно, и на неводах кое-что ловить, но море плохо еще кормило, да и, по правде говоря, сами еще не научились как следует ложку держать и потому мимо рта проносили.

Ничего, научились. А как разбогател колхоз — так начали и от берега отрываться, появились здесь и первые кавасаки — японские суденышки, их еще «деревяшками» называли, которые японцы согласно рыболовной конвенции на Камчатку за лосось доставляли. Старшиной одной из таких «деревяшек» был Николай Михайлович Бутин. Знатный колхозный мореход, впоследствии капитан одного из самых первых колхозных МРС-80 Камчатки — тех самых, что перегоняли в начале пятидесятых Северным морским путем. Но это было позже. Николай Михайлович славу свою уже в сороковых заработал: на ставном неводе в рунный ход лосося, а в остальное время — на треске. Ловили тогда на крючки и удача с ним не расставалась. Море он чувствовал как никто другой. Рыбу сквозь глубины видел. Брал там, где никто и никогда до него не брал. Проходил туда, где никто до него не был. Сдавал столько, сколько другие вместе.

И этот Бутин тоже был первопроходцем — одним из первых камчатских промысловиков, кем активный тихоокеанский промысел начат был, кто первые тропинки к знаменитым рыболовным банкам на тихоходах-кавасачках протаптывал.

А в соседнем колхозе, в селе Отрадном, подрастал в это время еще один капитан Бутин, Виталий Васильевич, внук того Ивана Бутина, который Камчатку в русско-японскую войну защищал.



На этом снимке вы видите капитана комсомольско-молодежного рыболовного бота «Ловец» Виталия Бутина. Экипаж, который возглавляет молодой моряк, все время занимает первое место в рыболовецком колхозе «Труженик» Усть-Большерецкого района. Ежедневно рыбаки сдают на новую базу в бухте Вилючинской богатые уловы. На счету команды около трех тысяч центнеров сданной рыбы, большая часть улова — сельдь.

Когда пришли в «Красный труженик» первые малые рыболовные сейнеры, про капитана Николая Михайловича Бутина легенды начали складывать. По гвалту чаячьему, пятну сельдяному, запаху одному ему ведомому и по сотне других каких-то примет безошибочно, в любую погоду находил Бутин косяк и черпал селедку уловистым кошельком так ловко, точно сызмальства только этим и занимался. Рассказывают, шел на Героя. Сам Сагайдачный, земляк из Запорожья, будущий Герой Труда, от него отставал. Бутин тогда рекорды ставил. И сам же их побивал...



Рыбаки Усть-Большерецкого района хорошо знают капитана рыболовного сейнера «Слава» из колхоза «Красный труженик» Николая Михайловича Бутина. Экипаж сейнера, возглавляемый т. Бутиным, сейчас близок к выполнению годового плана добычи рыбы. На его счету — около 5 тысяч центнеров рыбы.

Команда овладела опытом лова жирующей сельди без помощи самолета. Благодаря этому рыбаки ловят сельдь даже в пасмурную погоду и ночью. Экипаж судна соревнуется с командой рыболовного сейнера «Прибрежный», где капитаном Герой Социалистического Труда т. Сагайдачный. Первенство держит экипаж «Славы».

НА СНИМКЕ: **Н. М. Бутин.**

А погиб нелепо, но, как и сотни мореходов, — в море, при заходе в устье Озерной, опрокинуло их в шторм.

Виталий Васильевич, встав за штурвал малого рыболовного сейнера, продолжил их морскую династию и ходил в море еще много лет. До сих пор хранятся в семье грамоты тех лет — память о былых рыбацких победах. Работал он в Отрадном, а потом, когда слился их колхоз с «Красным тружеником» — в Запорожье, и их укрупненный колхоз все крепче и крепче становился на ноги, разрастался, накапливая силу для больших дел.

Теперь здесь уже сосредоточен целый флот малых рыболовных сейнеров. Детально изучен промысловый район. Озерновский рыбоконсервный завод ежегодно получает тысячи тонн лосося, сельди, камбалы, палтуса, трески, минтая...

И не нарушается старая традиция — все так же ходят в море Бутины — теперь уже Бутины-рыбаки — это сын Николая Михайловича Юра и племянник Володя Бутины...

ЭКИПАЖ МЯТЕЖНОГО ГАЛИОТА

...Зверобои роптали. Вот уже три года, как бот «Святой Михаил» стоял на берегу, а хозяин — тотемский купец Федос Холодилов — все чего-то медлил, все чего-то ждал. Промышленники, прибывшие в Охотский порт из Великого Устюга и Соликамска, Тобольска и Томска, задолжали купцу уже немало (и прогонные тут, и за пропитание немалые деньги скопились, за одежку-обувку...). Такие деньги и за три года на промысле морского бобра не скопишь.

Роптали не только прибывшие издалека — камчадалы тоже были недовольны: вернулись из одного вояжа, оставшись должниками, и вот — на тебе! — попались на удочку Холодилову, подписали бумагу, тот заплатил за них в Охотской канцелярии государев ясак, переписал на себя их долг и вот — жди теперь дожидайся, когда же Федос соблаговолит отправить их в Восточное море на Алеутские острова.

Ломали голову промышленники — что же держит в Охотске купца, когда за эти три года можно было привезти уже мехов на многие тысячи рублей, но так ни до чего и не додумались.

Только приказчик купеческий, Алексей Чулошников, тоже тотемец, обнажал в злой улыбке свои зубы, которыми он на спор перекусывал медные пятаки, крепкие и крупные, что лошадиные, и прорывалось затаенное:

— Ну, ужо попомнишь, Федос, Лисьи-то острова... Душегуб проклятый...

Поморы и сибиряки ничего не понимали из этих слов. Камчадалы догадывались — в начале шестидесятых годов, в зиму с 1762 на 1763 год, на Лисьих островах случилась беда — погибли экипажи четырех промысловых судов, около ста пятидесяти промышленников. Был слух, что в этой беде какое-то участие приняли и тотемцы. Верный слух или нет — сказать трудно. Из живых осталось всего тринадцать человек. Но самое странное было в том, что купец Федос Холодилов, один из самых удачливых во всем Охотско-Камчатском крае, состоявший в компании со знаменитым мореходом Андреяном Толстых (он открыл Средние Алеутские или, как сейчас называют их, Андреяновские острова), вдруг после того бунта на Лисьих островах затаился, прекратил заниматься промыслами. Не совсем, правда, забросил, как выяснилось, — чего-то ждал, а лет через пять построил бот «Святой Михаил», но вот уже 1770 год завершается, а он все ждет и ждет чего-то... Уж не того ли, чтоб перерезали алеуты всех русских и остался бы он, Федос, единственным купцом на все эти бобровые острова?! И такое бывало здесь. Тот же Федос вместе с Андреяном Толстых и патриархом здешних купцов Никифором Трапезниковым сумели втроем разорить первого камчатского промышленника, которому удалось поднять купцов со всей Руси на вояжи в Восточное море-океан для промыслов морского бобра, — Емельяна Софроновича Басова. Довели бедного до того, что он фальшивые деньги чеканить стал и за то на Нерчинскую каторгу угодил. А потом и Трапезникову «помог» Федос, если есть правда в том, что беда та на Лисьих островах не обошлась без Холодилова. Оно и понятно — здесь в тот год было два трапезниковских судна и одно — соликамского купца Ивана Саввича Лапина, который бойко в те годы в гору шел. Трапезников разорился... А вот с Лапиным не все было ясно — на свою беду, не зная еще ничего о трагедии на тех островах, он послал туда еще два своих судна и

вот до сей поры нет о них никаких вестей, и никто не знает — богат Иван Саввич или, может, уже нищ, как Басов и Трапезников... Вот и ждал Федос, чем же все это кончится... Лапин в конце концов не выдержал и ушел на казенном галиоте «Святой Петр» на Камчатку, чтобы там узнать хоть что-нибудь о судьбе своих людей и судов. Холодилов ходил довольный, но когда его промышленники спрашивали:

— Хозяин, ну сколько нам еще без дела быть?... — Федос свирепо таращил круглые свои, похожие на те пятаки, которые разгрызал Чулошников, глаза:

— Может, кто из вас в казенку захотел...

К зиме народ поуспокоился — ясно было, что теперь ждать уже до новой весны, когда прекратятся шторма да разобьет лед в Охотском море. Но не тут-то было — сразу после Рождества Христова Холодилова как вдарило — готовь бот к вояжу морскому.

А дело было просто: по самой осени пришел в Охотск, наконец, один из ботов лапинских с богатой добычей. Холодилова в тот момент не было — отлучился по делам в Якутск. Лапинцы же разгрузились, набрали продуктов и снова в море подались. Вот и примчал Холодилов, познав про все это, и загомонил: собирайся, собирайся, собирайся...

Рты пораскрыли от изумления, но споро взялись за дело: намаялись от скуки-то. К концу января бот был оснащен и спущен на воду.

Жители Охотска в недоумении разводили руками: «Вы что — в своем ли уме или нет — кто же в это время выходит в море на верную смерть?..»

Чулошников мрачно щерил свои лошадиные зубы:

— Ну, Федос, душегуб, ждут тебя в преисподней с чертовой сковородкой...

Только камчадалы спокойно воспринимали происходящее — они повидали уже всякого в вояжах морских, тонули, голодали, отбивали нападение алеутов — смерти не боялись. Да и не в обычаях это у камчадалов — бояться смерти.

Но поморы встревожились и зароптали. К ним присоединились и сибиряки, хотя они и не представляли всей опасности зимнего вояжа по Охотскому морю. Ропот промышленников не прекратился даже тогда, когда сам Холодилов рявкнул на зверобоев:

— Кто рот не закроет — того в казенку и за бунт — на Нерчинские рудники...

Но Охотское море, которое бушевало под боком, было сейчас пострашнее Нерчинской каторги, и потомки свободных новгородцев позволили себе сейчас пройтись по ненавистному Федосу. Тот, видя, что его окрики не действуют, молча ждал, когда они образумятся. Он выискивал своими глазищами зачинщиков. Но говорили все — возбужденно, яростно, гневно:

— Ты бы сам шел с нами, — бросил, наконец, кто-то долгожданное.

Холодилов сверкнул глазами. Все затихли, ожидая — что он на это скажет.

— Все. Кончили. Иду с вами.

После этого сказать было уже нечего. Стали молча готовиться к плаванию. И «Михаил» справился со штормом: скрипел, дрожал, грозя рассыпаться, кряхтел, трещал, стонал, даже визжал, как живое существо, но до Камчатки дошел. Беда, а может быть, счастье, — тогда толком никто не понял — случилась уже у реки Явиной — на юге Камчатки, когда шли вдоль ее западного берега и готовились бороться со страшными Курильскими переливами. Внезапно налетел снежный вихрь, вздыбил море, точно горячего жеребца: он и махнул своей огромной гривой с запутавшейся махонькой букашечкой — «Михаилом», и вышвырнул бот на камчатский берег в доброй сотне верст

от камчатской столицы — Большерецкого острога, где можно было устроиться на зимовку. Мела пурга, злобно завывая, как голодный волк, ветер драл остатки парусины, в которую завернулись было промышленники, чтобы, отойдя от «Михаила» в безопасное место, переждать непогоду. А она снова обезумела: и день выла, и второй — хлестала снегом, и третий — снег смешался с дождем. Иззябшие, до костей промокшие люди готовы были от отчаянья покончить с собой в своих снежных норах. Если бы не камчадалы. В своих камлейках из сивучиных кишок, непромокаемых и непродуваемых ветром, они раскопали где-то под снегом плавник — дрова, больше похожие на кости неведомых зверей, нежели на поленья: так они были обкатаны, затерты морем и просолены. Развели огонь. Потом камчадалы сходили на «Михаил» и принесли юколы — сухой несоленой лососины. Затем они вытащили из нор обессиленных промышленников — тех, кто уже не мог самостоятельно доползти до живительного тепла. И хотя по-прежнему выла пурга, настроение у людей было уже совсем другое.

Чулошников вдруг дико захохотал. Все испуганно оглянулись на него:

— Не спятил, не бойтесь, — хохотал тот, — знаешь, Федос, а ведь ты нам больше не хозяин. «Михаил» разбит штормом и по договору мы тебе ничего больше не должны, и ты нас больше знать — не знаешь. Куда хотим — туда идем. Хотим — домой. Нет — к другому купцу в наем...

— Ну, уж на — выкуси, — завернул Холодилов Чулошникову здоровенную фигу. — И вы все — тоже выкусите, — помахал он фигой перед носом промышленников, которые с интересом обсуждали услышанное. — «Михаил» не разбит. Его чуть только подремонтировать и можно дальше идти. Так что с завтрашнего дня и начинайте. Нечего прохлаждаться...

— Ты нам фиги под нос не суй, — перебил его Чулошников, — завтра, если погода будет, а пурга — по всему видать — на убыль пошла, уйдем берегом в Большерецкий острог. По договору мы тебе больше не работники. В Большерецкой канцелярии и разочтемся. С нас долги по закону спишут. Вот только с камчадалами разберешься за ясак. Таковы условия, Федос, и тебе придется их выполнять.

Холодилов угрюмо оглядел промышленников. Те зло глядели ему прямо в глаза, не боясь, не опуская своих глаз, прожигая насквозь своей ненавистью... Такие и убить могут...

— Ну, хорошо... Пойдем в Большерецк. Там разберемся...

Наутро кое-как закрепили «Михаил», чтобы не стащило волной и пошли по прибойной полосе, по ледяным глыбам, которые в солнечных лучах — сейчас солнце заливало все окрест и океан блаженно жмурился — горели ослепительными синими огнями; по колено, а то и по пояс, в снегу, покрытом сверху толстой, но слабой корочкой льда, которая проваливалась под ногами, рвала обувку и лопотинку — одежду, так что пришли в устье реки Большой в Чекавинскую гавань, где стояли на зимовке казенные галиоты «Святой Петр» и «Святая Екатерина», а также промысловый бот «Петр и Павел», на котором находились холодиловские приказчики Арсений Кузнецов и Степан Торговкин, разутые и полураздетые.

В Большерецке еще встреча — с тотемцами Дмитрием Брагиным, Степаном Корелиным и Григорием Шавыриным, теми самыми, что живыми вырвались с Лисьих островов в 1763 году. Передовщиком на «Петре и Павле» был Иван Коровин — лучший друг Торговкина и Кузнецова. Так что Холодилов снова обретал силу. Да и власть: командир Камчатки Григорий Нилов безо всякого дал ему в долг пять тысяч рублей казенных денег на ремонт бота. Когда же промышленники во главе с Чулошниковым возроптали на несправедливость и нарушение условий договора, Нилов посадил

зачинщиков в казенку, а Холодилов прогнал Чулошникова из приказчиков, назначил на его место Степана Торговкина.

Промышленники были озадачены таким поворотом событий. Холодилов не без умысла набрал на «Михаила» в свое время только тех, кто шел на Алеутские острова (не считая камчадалов и приказчика) впервые. По собственному опыту он знал, что такие обычно поглупее и пожаднее. Это уж потом, когда жизнь там, на дальних островах, отхлещет их за эту свою глупость и жадность, они станут другими, а первое время — только помани деньгами и пойдут хоть на край света. Но, видать, передержал своих промышленников в Охотске купец — они начали показывать свои зубы. Хотел, как свору собак, спустить их на Алеутские богатства, чтобы привезли назад столько, сколько другие и во сне не видели, а эта-то «свора» теперь на него самого и «лает»...

Но ничего, сейчас, когда у власти Торговкин, они хвост свой прижмут и пойдут — куда велено было. Камчадалы — мореходы опытные, те не взропщут: они куплены своим долгом со всеми их потрохами... Чулошников — он хоть от Андреяна Толстых всяких вольностей и глупостей набрался и о долге с совестью заговорил, как и Андреян, когда его угрызения совести за Басова стали мучать, пойдет все же простым промышленником — уж больно он толковый передовщик, а Торговкин сам посмотрит, как его лучше будет использовать на промыслах.

Вот так примерно рассуждал Холодилов, чувствуя, что синица уже у него в руке. Но, увы, он не знал главного.



Август Морис Беньевский, или Бейпоск, как его звали на Камчатке.

А главным было то, что в 1770 году галиот «Святой Петр» доставил на Камчатку группу ссыльных, среди которых был и польский конфедерат Август Мориц Беньевский или Бейпоск, как его называли в Большерецком остроге. И к тому времени, когда Холодилов с промышленниками прибыл в острог, Беньевский возглавил заговор, целью которого было бегство с Камчатки части русских политических ссыльных и моряков с казенных галиотов. Они думали бежать на морской байдаре через Курильские острова в Японию, где вели торговлю голландские купцы, а оттуда уже, с помощью этих купцов, попасть в Европу... И вот тут-то с приходом в Большерецк промышленников с «Михаила» Беньевскому приходит в голову мысль бежать на промысловом боте.

Беньевский тут же познакомился с промышленниками, стал на их сторону, завоевав симпатии простых бесхитростных людей, и затянул их в свой заговор, предлагая пойти на «Михаиле» на поиски Земли Штеллера, расположенной где-то на юго-востоке от Камчатки, о которой на полуострове ходили самые невероятные слухи: представлялись просто сказочные богатства, так как по мнению Георга Стеллера — Штеллера — сюда на зимовку собирались все пушные звери Восточного океана.

От промышленников в ответ на это предложение требовалось немногое — на обратном пути от Земли Штеллера завезти Бейпоска с товарищами в Японию или Китай, где, кстати, и сами промышленники могут весьма выгодно продать свою пушнину и вернуться домой богачами.

Бейпоск ставил на ту же карту, что и Холодилов — глупость и жадность. И выиграл — ведь Бейпоску промышленники еще ничего не были должны и потому он казался им менее опасным (а потому и более своим), нежели Федос.

А тут еще одна беда. Камчадал Сидор Красильников заявил Холодилову, что и он поддерживает промышленников и считает, что тоже ничего не должен купцу, так как «Михаил» разбило не по его, Красильникова, воле, а потому, что так было угодно господу богу. Вот с господа бога он, Федос Холодилов, пусть и спрашивает долг за него, камчадала Сидора Красильникова.

Холодилов, выпучившись как рыба, поглотал-поглотал воздух, а потом глаза его налились кровью и, схватившись рукой за горло, повалился купец навзничь. Федоса хватил удар. Не ожидал он такого сопротивления от бессловесных камчадалов, безропотных и покорных, которые трудились на промысле за двоих, а то и за троих русских промышленников, получая за все свои труды полпая — половинный заработок самого непутевого зверобоя.

Сидора — тут же в казенку. А остальным промышленникам приказчик Торговкин заявил следующее:

— Теперь вы все пойдете под суд как убивцы... И гнить вам на каторге, кандальники...

После этого терять и тем более было нечего — так в море пойдешь под долги неоткупные, а с Бейпоском — самому богатым стать...

Но скоро снова пришлось приуныть: штурман Максим Чурин, офицер флота и командир галиота «Святой Петр», осмотрел по просьбе Беньевского бот и пришел к выводу, что он не выдержит долгого плавания. Следовательно, этот вариант побега отпадал.

Оставалось, в таком случае, единственное — захватить один из казенных галиотов и бежать на нем. Но это, понятно, уже не промысловый вояж к Земле Штеллера, а дело политическое — захват казенного судна и бегство в заморские страны. Тут уже не каторгой все обернется в случае неудачи, а плахой. И вот тогда, чтобы обмануть промышленников, окончательно заморочить им голову и заставить поверить в новую сказку, Беньевский выставляет себя в роли страдальца за дело царевича Павла Петровича, мать которого, императрица Екатерина Вторая, незаконно заняв царский престол, правит страной, а сын, человек благородный и радеющий душой за свой народ, лишен ею власти. Он хочет жениться на дочери великого римского (австрийского) императора, жениться тайно, и вот письмо к ней (тут Беньевский показывал всем запечатанный бархатный конверт, каких, естественно, никто из этих мужиков-промышленников никогда не видел) вез Бейпоск, за что был арестован и выслан на Камчатку.

— Виват императору Павлу, — кричал он, вытягиваясь при этом по стойке «смирно», и промышленники все дружнее и дружнее (оболванивание шло не один день) отзывались на этот клич, припоминая при этом все новые и новые свои обиды от этой правящей страной немки и ее фаворитов. Что, в общем-то, и требовалось Бейпоску.

И, когда за императора Павла были уже все из сибиряков и поморов, он и раскрыл им свои карты — захватить галиот и уйти на нем в море, на поиски Земли Штеллера.

Воодушевленные своей сопричастностью к делу государевой важности, промышленники были согласны на все.

Но тут-то, при распределении обязанностей, выяснилось, что опытных мореходов среди них почти не было, кроме разве Алексея Чулошникова, который начинал ходить в море еще с Андреяном Толстых полтора десятка лет назад.

Опытными мореходами на «Михаиле» были только инородцы-камчадалы — Яков Кузнецов, Ефрем Трапезников, Сидор Красильников, Прокопий Попов, Мартын Воронов и коряк Егор Брехов.

Но никто из них не помышлял бежать с Камчатки. Царевич Павел со своей матерью Екатериной были для них столь же нереальны и непонятны, как и Господь Бог. Земля Штеллера не представляла никакой ценности, ибо в море камчадалы ходили не по своей воле, желанию или прихоти — шли батрачить, отрабатывать долги, их посылали насильно, отрывая от семьи, по приказу камчатских начальников, которые получали за эту даровую рабочую силу крупные взятки от купцов — людей свободных на Камчатке было мало, промышленников собирали по всей Сибири и Северной, свободной от крепостного права, России за тысячи верст до Восточного океана и за большие деньги, а камчадал шел вполцены, хотя мореходами они были отменными, имея врожденное чутье для морских походов...

Поэтому нужно было чем-то привлечь этих людей к заговору, и вот тут-то Беньевского и осенило — а что, если рассказать камчадалам о существовании островов Справедливости, где живется легко и счастливо всем, где не властвуют над человеком дикие законы и не владычествуют отцы-командиры — пьяницы и изверги, не грабят купцы, не обворовывают канцеляристы, не притесняют казаки, не злобствуют свои же собственные вожди-тойоны, а царят и правят всем мир и справедливость... Это Беньевскому было легко сочинять — в свое время он читал «Город Солнца» Томмазо Кампанелла, а город этот великий утопист расположил на реально существующем острове Тапробане, как в старину называли Цейлон. Камчадалы слушали, затаив дыхание. И когда Беньевский закончил свой рассказ, камчадал Яков Кузнецов сказал:

— Однако, правду говорит Бейпоск. Мой отец — вождь Камак — рассказывал мне об острове, на котором побывал Алексей Лазуков. Наверное, это тот самый остров. Там люди живут как братья — одной семьей. Давайте найдем этот остров в море и перевезем туда всех наших родников, затуторим (спрячем) их там и будем жить сами по себе.

— А есть еще испанские колонии,— добавил Бейпоск,— там можно будет взять большой фрегат и вернуться за остальными. На галиоте подойдем к берегу, возьмем тех, кто захочет отправиться с нами, и погрузим всех на фрегат. Но прежде нужно отыскать эти острова. Пойдете их искать? — осторожно спросил Беньевский.

— Пойдем! — решительно ответили камчадалы, и Бейпоск вздохнул с облегчением.

Дело оставалось в малом — захватить власть в Большерецком остроге, оснастить галиот и уйти в море.

Оружие заговорщики привезли с собой еще из Охотска. Большерецкие казаки в это время все были в разъездах по Камчатке. Маленький гарнизон Большерецка не представлял серьезной силы. Командир Камчатки пил беспробудно. И потому заговорщики в одну ночь захватили Большерецк, убили Нилова, разоружили жителей. Чудом спаслись от расправы Торговкин, Кузнецов и Коровин. Это произошло 27 апреля 1771 года.

А 11 мая, прорубив во льду проход для галиота к устью реки Большой до чистой воды, галиот «Святой Петр» был выведен в море.



Модель галиота «Святой Петр»

Но к этому дню надежды многих из членов экипажа мятежного галиота померкли. О какой справедливости можно было теперь говорить, если на борту галиота было два раба: ссыльный Петр Хрущев — первый помощник Бейпоска — вывозил, якобы за долги, семью камчадалов Паранчиных, Алексея и Лукерью. Но Беньевский знал свое дело — чтобы отрезать все пути к отступлению, он заблаговременно приказал всем бунтовщикам сначала присягнуть царевичу Павлу, а потом подписать «Объявление» — политическое обвинение Екатерине. Так что отступать теперь было некуда.

И ушли в тот год с Камчатки на поиски островов Справедливости для своих земляков камчадалы Яков Кузнецов, Ефрем Трапезников, Мартын Воронов, Сидор Красильников, Прокопий Попов, коряк Егор Брехов. Юнгами пошли на «Святом Петре» недоросли Иван Попов — из камчатских крестьян, Иван Логинов — сын большерецкого священника, алеут Захар Попов. Некоторые из членов мятежного галиота покидали Камчатку вместе с женами: с бывшим матросом из ссыльных Алексеем Андреяновым в дальний путь отправилась камчадалка Агафья Егоровна, с казаком Иваном Рюминым — «корякской породы» Любовь Саввична.

Насильно увозили на чужбину Паранчиных...

На Симушире, где остановились, чтобы насушить сухарей на дорогу, штурманские ученики Герасим Измайлов и Филипп Зябликов, взятые на судно заложниками, организовали вместе с Паранчиным заговор против Беньевского. К ним примкнуло еще десять человек — промышленники, моряки и камчадалы. Цель была проста: воспользовавшись тем, что основная часть экипажа занята на берегу выпечкой хлеба и сушкой сухарей, тайно проникнуть на галиот (благо, что караула никто не ставил), обрубить якорные канаты и увести судно назад на Камчатку, откуда вернуться уже с казаками и захватить всех беглецов. Матрос Андреянов узнал о заговоре и донес Бейпоску. Тот распорядился высечь зачинщиков кошками и оставить Измайлова с Паранчиным на необитаемом острове. Остальные заговорщики винились перед

предводителем и были оставлены на галиоте. Но это не было концом разыгравшейся трагедии — только лишь первым из ее актов...

...Позади оставались Курильские и Японские острова. Подходили к прекрасному острову Формозе, как в те времена называли остров Тайвань. Островитяне приняли русских за морских пиратов и обстреляли их из луков. Погибли трое — в их числе Иван Логинов и Иван Попов — юнги-камчадалы. Так и не нашли они счастливых земель для своих земляков. Беньевский приказал обстрелять поселение островитян из корабельной артиллерии и спалить его дотла. Приказ был выполнен.

А в Макао, португальском порту в Китае, Бейпоск продал губернатору галиот со всем его снаряжением — он больше не хотел рисковать и идти дальше на маленьком галиоте, а зафрахтовал два французских фрегата, которые должны были доставить в Европу как самого Беньевского, так и всю его команду, на которую там, в Европе, был у него особый расчет. Тогда взбунтовался весь экипаж бывшего уже мятежного галиота — ведь теперь становилось ясно, что и вояж, и бунт, и убийство Нилова, и захват судна, и суд над Паранчиным и Измайловым, и судилище на Формозе были бессмысленными в их поиске справедливости на этой земле, поиска мира и счастья. Не было пути и назад — ведь Бейпоск продал галиот.

Но Беньевский быстро привел в чувство бунтовщиков и, совершенствуя методику купца Холодилова, посадил их всех в тюрьму, сообщив губернатору, что его команда готовится ограбить Макао.

И снова смирился мятежный экипаж. Правда, не все — но тех уже нельзя было ни напугать, ни уговорить, ни купить — они умерли в Макао от тоски и горя, от тягот плавания и крушения надежд. Среди них были Мартын Воронов и Захар Попов.

В начале 1772 года на двух французских судах русские отправились в Европу. Они не знали, зачем еще понадобились Бейпоску, который мог просто-напросто их бросить в Китае. Но знали, что зря он их не повез бы — что-то задумал. Томила тоска по дому и неизвестность. Люди таяли, как восковые свечи. На острове Иль де Франс (Маврикии) в «Морициии» были оставлены в госпитале тяжелобольные Яков Кузнецов и Сидор Красильников.

Ефрем Трапезников умер уже во Франции в Лурианском госпитале.

В живых из наших героев осталось четверо — коряк Егор Брехов, камчадал Прокопий Попов и жены Рюмина и Андреянова.

Во Франции Беньевский раскрыл свои замыслы: он намеревался предложить королю Франции план захвата для него Формозы и превратить остров во французскую колонию. Колонизаторами же, по замыслу Беньевского, должны были стать русские, которым терять теперь было уже нечего. Вот каким боком выходили им теперь те острова Справедливости и Счастья, за которыми отправлялись в тот путь. Вот что понимал под всем этим в действительности их предводитель — бывший ссыльный конфедерат, некогда сражавшийся за Польскую Республику, а сейчас с тем же энтузиазмом готовый служить французской короне.

Семнадцать русских категорически отвергли предложенные им бывшим предводителем «рай и счастье» колонизаторов и пошли пешком в Париж, чтобы просить русского посланника во Франции Н.Хотинского о возвращении в Россию. Среди этих семнадцати было и трое наших героев. Лишь жена Алексея Андреянова отправилась вместе с мужем вслед за Беньевским превращать во французскую колонию не далекий остров Формозу, а более ближний Мадагаскар. Вместе с Беньевским отправились на Мадагаскар и те из русских, кто не надеялся на прощение императрицы — оставшиеся в живых бывшие ссыльные и промышленники, участвовавшие в убийстве командира

Камчатки. Их было примерно поровну — тех, кто возвращался домой, и тех, кто навсегда прощался с родиной.

Екатерина разрешила беглецам вернуться в Россию — это было в ее интересах: как можно меньше оставить свидетелей Большерецкого бунта за границей, где о Беньевском и камчатских событиях и так много писали газеты самых разных стран. Все, кто вернулся, скоро снова были за Уралом — в Тобольске, Иркутске, Охотске, Большерецке — подальше от российских центров — с клятвой сохранить при жизни подробности бунта, а особенно — «Объявления».

Поэтому-то и узнали в нашей стране о Большерецком бунте и бегстве с Камчатки только из французских, английских, немецких изданий, мемуаров самого Беньевского, который насочинял в своем «Вояже» таких приключений и расписал в тех книгах такие подвиги, что слава о нем и по сей день еще широко гуляет по всему миру.







Монеты разных стран с изображением галиота «Святой Петр» и Августа Беньевского.

Лишь через пятьдесят лет, в 1822 году, в России — в журнале «Северный архив» — были опубликованы «Записки канцеляриста Рюмина». Только тогда широкая публика смогла, хотя бы в общих чертах, сравнить эти два произведения и сделать выводы. Но было поздно: слава нашла «своего героя» и существовала уже как бы сама по себе. О подвигах Беньевского создавали романы, поэмы, пьесы... Его боготворили и боготворят, любили и любят, гордились и гордятся, а потому легко прощали и прощают ему все — даже загубленные человеческие судьбы, ценой которых он приобрел для себя свободу и славу, которые стали фундаментом его пьедестала.

Его мы прощаем. И в угоду сложившемуся в нашем сознании стереотипу даже не задумываемся о том, какие великие силы сострадания к бедам своего народа, какие глубокие чувства любви и сыновней преданности были во многих из тех бунтарей, кто шел вслед за Беньевским, чтобы найти для своих закабаленных и униженных братьев и сестер Острова человеческой справедливости и человеческого же счастья...

...Я не знаю, из каких камчадальских острожков были Красильников, Трапезников, Попов. Но эти фамилии на Камчатке достаточно распространенные — очень много Трапезниковых живет на западной Камчатке. Вот хотя бы Георгий Каллистович — один из самых первых советских «купцов» — доверенный «Интегралсоюза», когда только-только создавалась на полуострове потребительская кооперация. Позже он возглавит колхоз «Пионер Запада». Тоже символическое название — первый колхоз на западной Камчатке, в сегодняшнем Соболево.

У истоков новой жизни, в роли преобразователя камчатской глубинки, был и другой родник бунтарей-камчадалов, Максим Красильников — один из реально существовавших героев романа камчатского писателя Георгия Германовича Поротова «На околице Руси» — первый коммунист-ительмен в долине реки Камчатки.

Много интересного можно рассказать и о Поповых, тем более, что в экипаже галиота «Святой Петр» был крестьянин Иван Попов — из числа тех, кого насильно пригнали на Камчатку, чтобы выращивать здесь свой хлеб; камчадал Прокопий Попов и алеут Захар Попов. Поповых на Камчатке много, а в 1825 году были поселены алеуты на

Командорских островах. Так и на острове Медном появились Поповы. Не важно — родственники или однофамильцы были они с Захаром.

Через сто с лишним лет отправилась с острова Медного искать свой остров счастья и алеутка Дуся Попова. Служила кухаркой и нянькой в богатой семье какого-то служащего Петропавловского порта на Камчатке. А когда на полуострове была установлена Советская власть, комсомолка Евдокия Попова вернулась на Командоры. Они и стали ее островами счастья. Комсомольская, партийная работа... заведующая школой-интернатом... председатель Алеутского райисполкома. Позже она заведует народным музеем.

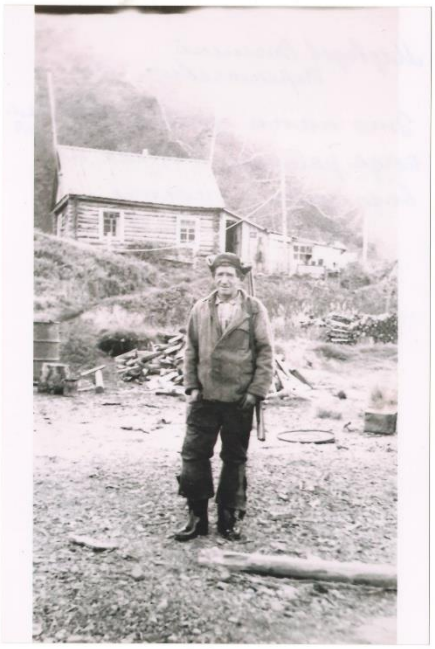
О Якове Кузнецове известно, что он был из Камак — маленького поселка в долине реки Камчатки, от которого осталось сегодня разве что только название, полученное в старину в память о вожде Камаке, таком же бунтаре, как и Яков.



Ветеран войны с Японией Гавриил Константинович Кузнецов в кругу семьи.

Многие из камаковских Кузнецовых и сейчас живут в Усть-Камчатске, Ключах, Козыревске, Петропавловске... Последними жителями Камак были смотритель телефонной линии Василий Терентьевич Медведев и его жена Галина Константиновна, девичья фамилия которой тоже была Кузнецова. У Василия Терентьевича была самая рядовая профессия — линейщик. Ни песен о ней не поют, ни стихов не слагают... А он отдал этой линии всю свою жизнь. Строил он ее, таскал на плечах бревна, так как на крутых склонах сопок, которые в знаменитых Щеках вплотную притиснуты в реке Камчатке, ни с какой техникой не подлезешь, да никакой техники и не было. А после он обслуживал эту линию. Не один десяток лет. Камаки и Медведев были неразрывны между собой. И люди, уже после смерти старого линейщика, дали его имя речному мысу, с которого открываются Камаки судам, спускающимся вниз по течению — к океану. И Медведев по-прежнему встречает гостей в течение всей навигации. Из года в год. Потому что он по-прежнему нужен людям. Потому что и в прошлой, и в сегодняшней нашей жизни главное богатство — это человек.





Василий Терентьевич Медведев – последний житель села Камаки.

ПРОСВЕТИТЕЛИ

1.

Выбор Петр Логинов сделал уже в первый день своего появления в Славяно-Греко-Латинской Академии. Именно в тот день здесь и столкнула его судьба с человеком, который остался в памяти навсегда.

Петруша поднимался тогда по лестнице, дивясь на благолепие Академии — он ничего больше не видел вокруг, оглохший и ослепший разом от такой божественной красоты, и... влетел головой в живот какого-то верзилы, спускавшегося по лестнице ему навстречу. Тот ахнул, судорожно схватил посинелыми губами несколько глотков воздуха и выпученными от напряжения и боли глазами уставился, готовый испепелить, на перепуганного мальчонку. Кто был этот верзила, мы не знаем, но знаем, что он мог быть Ломоносовым. Мог быть, и тогда понятно — почему, так многое в жизни Логинова — Логинова-юнца и Логинова-старца — было связано с просветительскими принципами, которые проповедовал в России именно Ломоносов и проповедовал тогда, когда наш герой был уже на Камчатке, на дальней окраине, оторванной от научной, культурной и просветительской мысли. Хотя, конечно, мог встретиться Петруше в тот день и кто-то другой. Мы на этом не настаиваем. Но не очень погрешим против истины, если позволим сейчас Петруше познакомиться с великим сыном России.

— Ты чего это дерешься?— сурово спросил верзила, переводя дыхание. Но увидев, как и без того уже перепуган мальчуган, улыбнулся, — Что, шибко лоб набил? То-то перепугался, воробей... Учиться, что-ли, здесь будешь?

— Да, — еле шевеля губами от страха, прошептал Логинов, все еще ожидая трепки.

— А чей таков?

— Священника Михаила Романова Логинова, Новгородского уезда Илаго погоста, Богородско-Казанской церкви, отрок, — отбарабанил Петруша на одном дыхании.

— Тоже, небось, попом хочешь стать?

Логинов кивнул головой, почему-то конфузясь от насмешливого взгляда сверху.

— А зачем?

И снова в ответ заученная барабанная дробь:

— Чтоб слово Божие проповедовать... Очищать души от скверны... Истину перед людьми открывать...

— Истину!? Эк ты хватил! Это уже, брат, не поповская забава. Вот когда книжки умные выучишься читать, то вспомни про дядю Спинозу. Цель философии есть только истина — говорил сей великий муж. Философии, ты слышишь!? А вера — только повиновение и благочестие.

И запомни, на носу заруби: все несчастия на Руси от невежества поповского... И ты не только душу человеческую очищай, когда подрастешь, но и про голову тоже не забудь, а в ней вся соль, Петр Михайлов сын Логинов...

Лишь просвещая темный люд, можно и душу его облагородить. А в темноте и невежестве не только у человека, но даже у великого государства будущего доброго быть не может — кнуты и застенки вместо великих подвигов, всероссийской и мировой славы... Потому не бойся, — снова улыбнулся он Логинову, — учись, отрок. А молитвами ты до нее никогда не доберешься. И не шучу я — ты уж мне поверь! И голову свою береги, отрок, не шибко рот разевай. Ну, прощевай!

И он ушел. Больше они не виделись. Если это действительно был Ломоносов, то и не удивительно — в тот год его перевели в Петербургскую Академию, а потом послали учиться за границу к известным ученым. Разминулись и не сошлись больше пути их, но слова те случайные запали в душу с тех пор так крепко, как молитва матери, которую она читала над его младенческой колыбелью.

И сейчас, слушая архимандрита Иоасафа Хотунцевского, который со страстным призывом идти за ним в Камчатку обратился к студентам старших классов Академии, Логинов — выпускник класса «Синтаксимы» — понял, что этот свой сегодняшний выбор он сделал уже тогда, когда случайная встреча, случайное знакомство оказались поворотными в его судьбе.

— Дикостью обуянное племя камчадальское зло творит на земле той! Вожди присягу на верность принесли государю-императору еще в поход Володимера Отласова в Камчатку в одна тысяча шестьсот девяносто седьмом году от рождения Христова, а уже через десять лет после этого сожгли гарнизон Большерецкого острога прямо в крепости. Дотла спалили. Не успели отстроить новый, как и его предали огню инородцы. И безвинно льется в Камчатке кровь русская. Лютая вражда посеяна меж тех народов: бьются они не на живот, а насмерть меж собою, бьются беспричинно и жестоко. И давая

клятву верности, выдавая аманатов-заложников, темной ночью вырезают казачьи отряды или сжигают казаков заживо в собственных жилищах...

И все потому, что слово Божие не доходит до тех инородцев: толковали его прежде грубые люди — и отступились от них даже те, кто поверил и внял им поначалу... Архимандрит Мартиниан заставлял новокрещенных на себя работать, превратил в холопьев своих, за что они его сами и смерти предали... Монах Игнатий, в миру известный душегуб Иван Козыревский, убийца приказчика Отласова и других, грабитель и вор, на ком и монашья ряса от крови не просыхала, хоть и основал у Нижнего острога Успенскую пустынь, но к божьей проповеди склонности и дара сердешного не имел, за что и был расстрижен и приговорен к казни...

Иеромонах Иоасаф Лазарев смог простить инородцам смерть сына своего и отпустить грехи убийце его Федьке Харчину перед виселицей, но потерял сам в отеческом горе великом силу свою и в дряхлости древней век свой доживает у могилки чада любимого... А в Камчатке отвернулись от веры Христовой даже новокрещенные камчадалы — кровью мажут идолищам своим губы, бросают в жертву языческим божкам кости и кишки звериные, сеют вражду между родами своими с русскими казаками и идут на сговор с некрещенными коряками и чукчами, готовя новый бунт... И жаждут они снова русской крови в дикости своей, в безудержности и страсти греховной...

И нужно остановить этих безумцев от гибели! Но только душа чистая, светлая, ласковая может просветить ум инородческий и просветить помыслы его... А самые лучшие, самые чистые из вас призваны будут господом нашим послужить ему в той далекой и дикой стране — в Камчатке!

2.

Хотунцевский лгал. Он создавал себе ореол мученика в вере, чтобы получить потом со всего этого все до последнего гроша — епископство, а то и поболее — митрополию... Иллюзий на этот счет он не питал — знал, что пойдет на все, чтобы в два-три года крестить поголовно всех камчадалов... И их мнимое злодейство было надежным щитом, чтобы прикрыть впоследствие все то, на что готов был пойти архимандрит ради своей, пока далекой, но очень желанной цели. Совесть его тоже не мучала — авторитетов по злодейству во имя веры было предостаточно — митрополит Ион в свое время огнем и мечом крестил вятичей, митрополит Филофей Лещинский благославлял на сей подвиг сибирских миссионеров, а из них более всех преуспел нынешний иркутский архиепископ Сафроний, благословивший, в свою очередь, архимандрита Иоасафа Хотунцевского...

Но с ним отправлялись в Камчатку и люди с чистой, светлой и ласковой душой... Они шли за ним на край земли открывать школы. И среди них был Петр Логинов, молодой человек в возрасте двадцати трех с половиной лет, который 25 августа 1745 года открыл при Успенской Большерецкой церкви первую камчатскую школу.

3.

И вот пятнадцать лет уже минуло с тех пор, как Логинов начал учить камчатских детей алфавиту и часослову. Всего он повидал здесь за эти годы — и добра, и лютой ненависти. Давно уже получил заветное Хотунцевский, в один присест перекрестив всю Камчадалию и убравшись отсюда подобру-поздорову. Теперь миссию возглавил отец

Пахомий — уставший от жизни и собственных годов, тихий, с ясными ангельскими глазами, с седой, в пояс, бородой, ласковый и кроткий.

Логинов по-своему любил этого старика, хотя его всепрощение нередко выводило дьяка из себя.

На Камчатке властвовал в эти годы печально известный Чередов — человек злобный, коварный, злопамятный, мстительный, жадный до мехов и чужих денег.

Пахомий как-то попытался было вразумить командира Камчатки — так тот за это приказал старику встать на колени прямо в снег на большерецкой площади и отмаливать в течение нескольких часов все его командирские грехи, пока Чередов не удосужился простить миссионера, проявившего заботу о пастве.

Пахомий покорился.

Логинов негодовал. Пахомий в ответ на это разводил печально руками:

— Бог вразумит его. А людям он не покорен. Так что через наши страдания Бог увидит, какое зло творит здесь командир. Мы же должны терпеть...

Но все же благодоря настояниям дьяка Пахомий написал жалобу в иркутскую духовную канцелярию. Чередов был отдан под суд.

А тут как раз пришло из Синода разрешение миссионерам (и священикам, и дьякам) вернуться с Камчатки домой. Пахомий засобирался. А Логинов был в раздумье. Росли дети. Взрослыми стали уже его первые ученики. Хотя это, может быть, и не главное. Не это останавливало и удерживало его — чувствовал Логинов, что он еще нужен здесь. Камчатка — край дикий. И не потому, что здесь жили воинственные дикари. Вовсе даже не потому. Камчатка — окраина империи! Сюда посылали служить лишь в наказание: тех, кто проштрафился, проворовался, пропился, проигрался в пух и прах... Так что здесь накапливалась административная нечисть — казнокрады и плуты, взяточники и жулики — люди бездушные, а потому страшные в этой стране, где до справедливости еще дальше, чем до господа Бога.

И вот теперь перед Петром стоял выбор: вернуться домой, к отцу, который от одиночества подался в Иверский монастырь на Валдае и звался теперь Мефодием, или просить благословения у Пахомия, ехать в Иркутск к Сафронию и быть рукоположенным в сан священника, чтоб встать здесь, в Камчатке, между двумя мирами — господ и рабов — посредником: мирить, утешать, заступаться и проращивать в душах своих прихожан ростки доброты и любви друг к другу. И в этом он видел свое призвание.

В 1761 году священник Логинов принял Успенскую Большерецкую церковь.. Но очень даже скоро понял Петр Михайлович, что быть посредником между этими двумя мирами невозможно. Нужно было делать выбор и принимать чью-то сторону. Но дело усугублялось тем, что сан священника не предоставлял ему теперь выбора: для того он и был рукоположен в этот сан, чтобы защищать официальную власть и служить ей, невзирая ни на что, — даже на то, с чем не могла примириться его добрая и благородная душа. Учителем он был свободен, священником — закабален. Это открылось очень рано и... слишком поздно. И он был уже не в силах что-нибудь изменить в своей судьбе. Трагически поздно. Он понял теперь и Пахомия — тот сделал свой выбор: покорился власти и ей же раболепно служил. Это же предстояло сделать Логинову — призывать свою паству быть покорной, блюсти законы и почитать тех, кто был обличен властью — их благородий, превосходительств, высочеств, сиятельств, величеств...

Мы помним по «Истории», какой выбор сделал священник Логинов — он призвал народ к бунту против командира-ирода и тот был выслан из Большерецка в Охотск и отдан под суд.

Справедливость восторжествовала. Надолго ли вот только — ведь новый командир Камчатки капитан Нилов лишь тем был лучше Извекова, что пил горькую, не отличая дня от ночи, но если бывшему командиру — капитан-лейтенанту Извекову водка разжигала душу, толкая на подвиги, и по жилам растекалась вместе с алкоголем густая злоба, то Нилов благодушно почивал, сморенный с похмелья первой же выпитой натощак рюмкой.

Но снова в Большерецке готовится бунт. И первой его жертвой оказывается... отец Петр.

Большерецкий бунт 1768 года, когда был низвергнут капитан-лейтенант Извеков, известен сегодня разве что специалистам. Бунт 1771 года вошел в сокровищницу мировых событий, хотя в первом случае люди боролись за справедливость и победили, а во втором — были самым бессовестным образом обмануты авантюристом Бейпоском и потерпели фиаско. Но уж так, видно, устроено в истории, что хорошее часто выветривается из памяти, а вот плохое помнится долго и во всех подробностях, привлекая к себе внимание на протяжении не одного столетия. И с этим, заведенным не нами, порядком не поспоришь...

Но что же произошло с Петром Михайловичем? В чем причина столь трагической развязки?

И почему бытует легенда, что Логинова отравил именно Беньевский-Бейпоск?

Сначала давайте изучим эту легенду.

Беньевский хотел во что бы то ни стало бежать из камчатской ссылки. Он согласен был даже плыть на морской байдаре, лишь бы только добраться на ней до Японии, где вели торговлю европейцы — голландские купцы. Нужен был только повод, чтобы уйти незамеченным из Большерецка на мыс Лопатку — то есть за добрую сотню верст. Повод нашелся — крещение инородцев-курилов. Нужен был теперь священник — миссионер, которого бы «взялись» сопровождать на Курильские острова камчатские ссыльные. И нужен был не просто священник, а такой, которому можно было бы раскрыть свои замыслы и заручиться поддержкой на будущее. На ком мог остановить свой выбор Бейпоск, если в Большерецке был один-единственный священник — другой же имел свой приход в трехстах верстах к северу? Не знаю, состоялся ли откровенный разговор между Беньевским и Логиновым, но знаю, что Петр Михайлович не принимал участия в большерецком заговоре.

Участие в нем принял другой — ближайший — священник Алексей Устюжанинов, приход которого был в Иче. Он не только дал свое согласие отправиться на Курилы, но даже поехал в Нижнекамчатск к протоиерею Никифорову, чтобы убедить свое духовное начальство в необходимости организации миссионерской партии. Но разрешения он не получил. Более того — попал под домашний арест протоиерея, так как по Камчатке поползли уже слухи о тайных затеях ичинского попа и большерецких ссыльных. Беньевский, как мы знаем, времени зря не терял и готовил захват судна. Но в этой ситуации ему тем более позарез нужен был священник: во-первых, тогда было бы значительно легче внушать любые мысли обманутым им промышленникам и местным жителям; во-вторых, самое главное, связать всех бунтарей клятвой верности, присягой на Евангелии — католик Беньевский не стеснялся никаких средств для достижения своих целей. Но с Логиновым разговор не получался. Нужен был Устюжанинов. Единственное,

что могло вернуть его в самое ближайшее время назад — скоропостижная смерть настоятеля Успенской церкви отца Петра: ведь в Большерецке некому было его отпеть.

И вот 11 апреля 1771 года священник Логинов, в возрасте 54 лет, неожиданно для всех умирает.

Но еще неожиданней для нашего рассказа будет другое — членом экипажа мятежного галиота «Святой Петр», юнгой при Беньевском, был Иван Логинов.

Ключик к Логинову-старшему Беньевскому подобрать не удалось, тогда он, видимо, решил действовать через младшего. Ничто не могло прельстить святого отца в сказках конфедерата. Но именно сказки о Земле Справедливости способны были воодушевить юного романтика-правдолюбца. Петр Михайлович был просветителем — в этом видел свое призвание. А просветитель должен быть с народом — не с какой-то его частью, а со всей массой. Сеять разумное, доброе, вечное. И вступать за них в борьбу даже с самим господом Богом, с его заповедями о смирении, всепрощении и прочем, что убивает в человеке Человека и превращает его в раба. То есть безбожником, если судить по делам и поступкам, оказывался отец Петр в своей бескорыстной любви к людям, в ощущении их боли, их страданий, горя и нужды, сознании своей обреченности жить в этом времени — и он потому не способен развеять свои земные идеалы и поверить в мифы.

А сын был по молодости утопистом и верил в них. И они стали его идеалом, его мечтой — найти остров Справедливости в океане, найти свою Тапробану и привезти сюда несчастных земляков-камчадалов, которым и от самых искренних и честных проповедей отца не живется лучше, и даже, когда уходит один плохой начальник, на его смену приходит еще более худший...

Да, не нашлось точек соприкосновения для общего понимания между авантюристом Беньевским и просветителем Логиновым. И уж не роль ли заложника (аманата, как было в старину у камчатских казаков) отводил младшему Логинову в своих беспринципных планах Беньевский? Логинов-младший был не способен отступить от задуманного, ибо он брал на себя роль Мессии для своих родников-камчадалов. Логинов-старший оставался верен своим принципам, но мог ли он принести в жертву этим принципам своего родного сына, обреченного взойти на эшафот в случае раскрытия большерецкого заговора?!

И потому, мне кажется, Беньевский убил Логинова руками самого Петра Михайловича...

А Иван так и не добрался до Тапробаны — вечное свое пристанище он нашел на Формозе — Прекрасном острове (это современный Тайвань). Местные жители приняли экипаж «Петра» за морских пиратов, и как только русские сошли на берег, пустили в них свои стрелы...

4

Прошло двенадцать лет после описанных нами выше событий, и в маленьком городке Пермского наместничества Обва родился человек, судьба которого самым удивительным образом оказалась связанной с судьбой героев этого рассказа.

11 сентября 1784 года он оказался на Камчатке, преодолев в зыбке путь в несколько тысяч верст через Урал и Сибирь, чтобы пережить здесь вместе со своими родителями, может быть, самые горькие годы в своей совсем несладкой жизни.

Это был будущий декабрист Владимир Иванович Штейнгейль, отец которого — Иоганн Готфрид — был назначен капитан-исправником Нижнекамчатской округи.

Мы уже знаем, каких чиновников присылали служить на Камчатку. Иоганн Штейнгейль оказался среди них исключением и потому уже только не пришелся по душе ни командиру Камчатки надворному советнику Рейнеке, ни нижнекамчатскому городничему Орленкову и прочим чиновникам «из отставных камер-лакеев, почтальонов, курьеров и тому подобных людей», как характеризовал их позже сам Владимир Иванович в «Автобиографических записках», которые он посвящал своим детям и внукам.

А так как это посвящение имеет самое прямое отношение и к нашим героям, то мы еще раз обратимся к «Запискам».

«Из сего изображения людей, коих отец мой имел несчастье сделаться сослуживцем, можете сами легко себе представить, какую роль досталось ему играть. Он не имел ничего общего с ними: по природе благородный германец, по воспитанию вежливый просвещенный муж, по религии лютеранин, по языку немец, по душе честный человек, по сердцу пылкий, не в меру чувствительный и храбрый воин — мог ли он нравиться толпе безнравственных невежд, приехавших в Камчатку с единственною целиею обогатиться и пожить за счет безгласных и угнетенных ее жителей. Вскоре увидели, что по правоте своей он встал на сторону беззащитных камчадал и отказался от их общества и правил. Ссора с первым Орленковым не замедлила возникнуть. Он, как городничий, сделался начальником всех отдельных казачьих команд, рассеянных по разным местечкам, и под сим предлогам выдавал себя за настоящего начальника Камчатки и вселял в камчадал, чтоб его одного слушали, и почитали, и боялись. Началась переписка. Отец мой, как иностранец, не знавший русского языка, должен был положиться на тамошних же писарей полуграмотных, кои были, вероятно, по духу его противников, а когда сам писал, то не обинуясь называл их ворами, грабителями и подлецами».

Все это, как водится, должно было закончиться и закончилось следствием и судом. Но не стоит нам обольщаться с примером Извекова и думать, что в те времена столь уж легко было добиться справедливости — то было, все-таки, не правило, а исключение. Следствие и суд состоялись над Иоганном Штейнгейлем. Но прежде были еще несколько камчатских лет повседневних унижений и оскорблений. Правда, был и луч света, озаривший всю последующую жизнь Штейнгейлей — отца и сына... Луч надежды...

25 августа 1786 года на борту английского торгового судна, прибывшего из торгового города Кантона, капитан Вильям Петерс, русский купец Григорий Шелихов и нижнекамчатский капитан-исправник, он же и переводчик, барон Иоганн Штейнгейль, совершили первую в истории Камчатки торговую сделку, открывающую начало новой эпохи.

«Отец мой утешался сим случаем немало. Он надеялся быть орудием к улучшению бедного положения того края и к доставлению отечеству новой торговой отрасли».

Но Иоганну Готфриду не удалось уже больше ничем помочь нищей российской окраине — через несколько лет он был выслан с Камчатки и по прибытии в Иркутск отдан под суд, объявлен сумасшедшим, лишен чинов и дворянства. 21 ноября 1797 года Павел 1 небрежно черкнул на приговоре несчастного правдолюбца: «Быть по сему».

Только 21 августа 1802 года дело Штейнгейля было наконец пересмотрено и вынесен оправдательный приговор. Владимир Иванович, в то время уже выпускник

Морского кадетского корпуса, мичман, прибыл в Охотский порт для прохождения службы на судах Охотской флотилии.

Так что мы можем представить себе, какие чувства испытывал Владимир к камчатским властителям и какие надежды питал в отношении молодой Российско-Американской компании, с которой не только он, — лучшие умы России связывали свои надежды о свободной торговле, способной привести страну к отмене крепостного рабства, к Конституции и Республике. В Российско-Американской компании видели прообраз Великого торгового Новгорода с его системой демократического правления.

Юный мичман свято чтил столь высокие идеалы и потому, когда новый командир Камчатки генерал-майор Павел Иванович Кошелев, как в свое время и Иоганн Готфрид Штейнгейль, встал на сторону камчадалов против приказчиков РАК, монополизировавших всю торговлю на Камчатке, а потому баснословно вздувших цены на все, что пользовалось спросом; против грабителей чиновников, гражданских и военных; против церковников, столь же лихо, как и торговцы с чиновниками, обиравших своих прихожан, — Владимир Иванович принял сторону противников Кошелева. Как и нижнекамчатский священник Логинов. Вот где и как впервые свела их судьба.

Кошелев в свое время был адьютантом М. И. Кутузова и его любимцем. Это-то и спасло его в конечном итоге. На Камчатке Кошелев был отдан, как и Иоганн Штейнгейль, под суд и пробыл в ордонанс-гаузе вплоть до начала Отечественной войны 1812 года. По настоянию Михаила Илларионовича он был выпущен и записан в Санкт-Петербургское ополчение командиром 4-й дружины, куда штаб-офицером поступил и Владимир Иванович Штейнгейль. До конца дней своих он так и сохранит самое неприязненное отношение к Павлу Ивановичу. Вот как бывает в жизни! А ведь когда купцы, чиновники и церковники составили свой заговор против Кошелева — камчадалы поклялись, что если хоть волос упадет с головы их заступника, они не оставят в живых ни одного из его обидчиков.

Но с позиций юного Штейнгейля все более-менее ясно, и он не предавал идеалов своего отца, идя против принципов: в этом случае мы видим явный переизбыток чувств над мыслями и дальнейшими выводами о правоте камчатского командира — «намеренного гонителя» приказчиков РАК. Но вот — как оказался в стане врагов Кошелева-командира, о каком мечтал всю свою жизнь Петр Михайлович Логинов, сын или внук большерецкого просветителя!? Хотя, впрочем, и здесь все более-менее ясно: с темой явного предательства идеалов своего отца мы еще столкнемся в нашем рассказе.

А сейчас нам все же важнее понять: как и почему будущий декабрист и потомок камчатского просветителя оказались в одном заговоре с людьми, которых и Петр Логинов, и Иоганн Штейнгейль, и Павел Кошелев характеризовали примерно одинаково — подлецы, свиньи, негодяи, воры.

У нижнекамчатского священника Логинова, как рассказывают документы, была своя корысть в этом деле — своей жизненной позицией он избрал раболепное служение тем, в чьих руках богатства и власть. Мичман Штейнгейль был бескорыстен в своих искренних заблуждениях — заблуждениях на всю жизнь, считал, что честность, порядочность, принципиальность и непримиримость Кошелева (мичман имел возможности в этом убедиться) являются серьезным препятствием на пути к прогрессу (дальнейшему развитию Российско-Американской компании) и потому не имеют права на существование, должны быть сметены с этого пути. Горькое, юношеское, искреннее и восторженное заблуждение, которое, хоть и временно, но вводило и его в стан врагов своего отца, в стан друзей нижнекамчатского священника Логинова, предавшего и растоптавшего идеалы своего отца или деда.

РАКу Владимир Иванович остался верен навсегда. И именно это, в конечном итоге, привело его к декабристам. В тайное общество Штейнгейля принимали Кондратий Рылеев, Иван Пущин, Александр Бестужев-Марлинский. И хотя Штейнгейль, в отличие от многих декабристов, не был сторонником восстания и предлагал путь последовательных политических реформ — от конституционной монархии до буржуазной республики через «дворцовую революцию», то есть переворот, используя тот момент, что царевичи Константин и Николай отказываются от российского престола, посадить на трон вдову царя Александра I Елизавету Алексеевну. Соблазн такого переворота был велик: Рылеев три дня обдумывал предложение Штейнгейля, который утверждал что Елизавета безразлична к верховной власти, а ее доверенный — секретарь Н. М. Логинов — человек конституционных взглядов. Правда, Владимир Иванович напомнил и об истории с Анной Иоановной — та тоже казалась безразличной к власти, а потом устроила России бироновщину. Нет уж, решил руководитель Северного общества, лучше не рисковать единственным выпавшим на их долю шансом освобождения России от тирании Романовых. И Штейнгейль, осознавая, что восстание на Сенатской площади обречено на поражение, готовил по заданию Рылеева Манифест, а потом, когда пришло известие о том, что большая часть армии уже присягнула Николаю, он вышел вместе со всеми на площадь, чтобы донести потомкам память о том трагическом для России дне.



Владимир Иванович Штейнгейль

Он был приговорен по III-му разряду — к вечной каторге. А ведь Штейнгейль был самым старшим среди декабристов и имел восемь детей. Единственное, что могло принести хоть какое-то спокойствие за судьбу детей — это была записка от старого друга, переданная арестанту седьмого каземата Никольской куртины Петропавловской крепости в самое тяжелое для него время: от декабристов отказывались даже их родственники. Старый друг его, Петр Иванович Рикорд, товарищ по Морскому корпусу, несмотря ни на что писал, зная, что каждое слово может отразиться на его собственной судьбе и карьере: «Любезный друг, не беспокойся о детях, я буду наблюдать их».

А теперь я расскажу вам одну романтическую историю. В июле 1820 года в Перми еще один старый товарищ Владимира Ивановича — Василий Николаевич Берх — встречал на пороге своего дома странного гостя «в синей фуфайке, лосиных пантолонах, с такими же стиблетами», ни слова не говорящего по-русски. Это был капитан английского флота Джон Кохрен, который шел пешком из Дьеппа (Франция) в Россию, чтобы самолично определить координаты Шелагского мыса, и заодно убедиться в том, что Азия на самом деле не сходится с Америкой, а если даже и не сходится, то умудриться попасть в Америку с Камчатки на каком-нибудь торговом судне...

Если сказать, что Берх был удивлен такими вот намерениями Кохрена, то это будет неверно. Берх был ошарашен. Пешком?! Не зная ни слова по-русски?! Под Царским Селом, пока Кохрен отходил от впечатлений увиденного им пожара в царской резиденции, его раздели до исподнего дородные русские мужики, но оставили в живых, хотя могло быть и по-другому.

Но в то же время Берх, а он был историком, то есть человеком факта, не мог констатировать, что до Перми, то есть до Урала, Кохрен все же умудрился каким-то образом добраться. Потом, нельзя забывать, что у Джона был уже большой опыт странствий: первый свой пешеходный переход Кохрен совершил в Канаде во время американской войны — он был послан из Квебека для защиты озера Супериор и прошел тогда в общей сложности туда и обратно четыре тысячи верст. Потом он пять лет путешествовал — опять же пешком — по Испании и Португалии. Вернувшись домой, в Лондон, попросил послать его в Африку для обследования истоков Нигера, но его предложение было проигнорировано. Тогда он решил идти в Америку через Россию. И пошел. За месяц прошел путь от Франции до Санкт-Петербурга (при этом еще несколько дней умудрился провести в Берлине). Граф Кочубей дал ему официальное разрешение на путешествие по России и ее владениям в Америке.

24 мая 1820 года Джон Кохрен вышел из русской столицы. В тот же день он был под Царским Селом. 27 мая, несмотря на дорожное происшествие, был в Новгороде. Затем посетил Тверь, Москву, Владимир, Казань. Естественно, что нашлись добрые люди и приодели Джона.

Из Казани в Пермь он ехал на почтовых лошадях. 10 июля пересек границу Европы с Азией, а на следующий день был в Екатеринбурге.

В своих записках, опубликованных в «Сыне Отечества», Берх дал описание этого англичанина: «Капитану Кохрену только 27 лет от рождения, он ростом не велик, но крепок телом и способен к перенесению всяких трудностей. Живши неделю у меня в доме, ел он только за обедом или один раз в 24 часа, да и то весьма умеренно. В последние дни, когда мы с ним короче познакомились, он просил меня велеть ему готовить часть свинины и бефстекс. Телятины он никогда не ест, отзываясь, что она слишком нежна для его желудка. На вопрос «долго ли он может пробыть без пищи?» отвечал г.Кохрен: «в среду (30 июня) удержал меня почтенный губернатор Казани отобедать; из дому Его превосходительства поехал я с почтою к вам в Пермь. В субботу (3 июля) пришел я к вам прямо на обед. Что вы думаете, ел я дорогою? Ничего, кроме куска черного хлеба, коим я заел рюмку водки, выпитую в Оханске (от Казани до Оханска 536 верст)».

Таким образом, Берх не только убедился в серьезности намерений Кохрена, но даже попросил разузнать его там, в Америке, о русских, которые издавна жили в долине реки Хеуверн на острове Кинговее, читали книги, молились «доскам» — иконам, носили бороды.

Кохрен обещал. Но не сдержал обещания, хотя побывал на Чукотке, где в это время работала экспедиция Фердинанда Врангеля, и попытался оттуда перебраться в Америку, но не получилось. Кохрен отправляется на Камчатку, чтобы сесть, как он и задумывал раньше, на торговый корабль, но... влюбляется в дочь петропавловского дьячка, воспитанницу командира Камчатки Петра Ивановича Рикорда и его жены Людмилы Ивановны пятнадцатилетнюю красавицу Ксению Ивановну Логинову...

Была сыграна свадьба и летом 1822 года вместе с супругами Рикорд — Петр Иванович получил назначение в Кронштадт командиром порта — супруги Кохрен тоже уезжают с Камчатки. Сначала в Петербург, а затем в Лондон. Здесь, оставив Ксению в пансионе, Джон едет в Южную Америку, в Каракас, где ему поручается надзор за добычей медной руды. Скоро он привозит сюда и юную свою жену. Но недолго продолжалась их семейная жизнь — летом 1825 года Джон неожиданно умирает. Вдове, госпоже Кохрен, в тот год только-только исполнилось восемнадцать лет. Она возвращается в Англию. А оттуда в 1827 году едет в Кронштадт к своим приемным родителям и поселяется у них.

А в 1828 году в доме у Петра Ивановича и Людмилы Ивановны Рикорд произошла новая удивительная встреча — Ксения Ивановна познакомилась с молодым офицером Петром Федоровичем Анжу, другом Фердинанда Врангеля. В тот год, когда Джон Кохрен стремился закрыть белые пятна на северо-востоке Азии, Петр Федорович, как и Врангель, возглавлял одну из русских северных экспедиций и искал легендарную Землю Санникова в районе Новосибирских островов. Так что это был тоже человек-легенда и он тоже был покорен красавицей камчадалкой и просил у Рикорда ее руки. 24 октября 1828 года в церкви Морского корпуса в Кронштадте был совершен древний православный обряд — венчание. Супругам Анжу предстояла теперь долгая и счастливая жизнь. У них было три сына (один из них — Петр — моряк, участник кругосветного плавания на фрегате «Паллада») и три дочери. Об одной из них — Людмиле — и пойдет речь.

27 октября 1855 года в письме И. И. Пущину Владимир Иванович Штейнгейль с большим чувством писал: «...Мой Вячеслав женится! И на ком женится! — На дочери вице-адмирала Анжу, на крестнице многоуважаемой мною Людмилы Ивановны Рикорд».

Так вошла в жизнь Владимира Ивановича Штейнгейля еще одна камчатская судьба, и он породнился с династией камчатских просветителей.

Владимир Иванович очень любил Вячеслава. Но молодой человек, сделавший прекрасную карьеру (он закончил службу генералом от инфантерии), будучи на попечении самого царя, не разделял идеалов своего отца, хотя и не отвергал его самого. После освобождения из ссылки декабрист поселился у сына в Царском Селе, где Вячеслав Владимирович был инспектором Лицея. Это в конечном итоге стоило последнему карьеры (в 1858 году он назначен редактором «Российской военной хроники»), но, тем не менее, Владимир Иванович до своего последнего часа жил в семье Вячеслава.

Но все-таки незадолго до свадьбы сын нанес отцу очень серьезный удар. Удар по его идеалам, по самому святому, что было у него в жизни на склоне лет — по его памяти. 5 октября 1855 года Владимир Иванович с тяжелым сердцем писал о своих «Автобиографических записках» И. И. Пущину: «Пьесу, которой хотели продолжения, я истребил. Люди не стоят того, чтобы передавать им истину. Сыну моему родному она не понравилась, что ж другим? К нему писал... чтоб истребил. Мудрено людей переуверять и заставлять протереть глаза, отуманенные 30-летним пуфом. Одно время разве сделает это со вновь выходящими на обзор света, с его превратностями».

Сын оказался чужим ему по духу. И совершенно не случайно Владимир Иванович своим духовным наследником определил человека, который впоследствии действительно сыграет большую роль в истории революционного движения в России. 2 января 1859 года Штейнгейль писал Гавриилу Степановичу Батенькову, которого всегда называл другом-братом, в Калугу: «Прошу тебя, мой друг-брат, принять доставителя этих строк, как бы ты принял меня самого, даже с тою же доверенностью к его благородным чувствам. Это воспитанник Лицея, под руководством моего сына, и, стало, внук мой по духу. Имя его Николай Александрович, фамилия Серно-Соловьевич». Будущий известный революционер-демократ.

6

Минует век с той поры, как в Большерецке Петр Михайлович откроет первую камчатскую школу. И точно не было ни этого события, ни этого столетия — в сороковых годах XIX века единственную на Камчатке школу, к тому же частную, откроет правнук Петра Михайловича и брат Ксении Ивановны, петропавловский священник отец Георгий.

Глубокой признательностью и благодарностью русского человека зазвучат эти вот строки из дневника великого сибиряка, ученого с мировым именем, будущего митрополита Московского и Коломенского, а в те годы — епископа Камчатского, Курильского и Алеутского Иннокентия Вениаминова (Попова): «...из священников особенной похвалы заслуживают... Камчатского собора священник Георгий Логинов, который по закрытии в Камчатке духовного училища открыл у себя домашнее училище, которое ныне состоит у него из 11 человек разного звания, обучающихся кроме чтения и письма русской грамматике, священной истории и катехизису. На бывшем при мне экзамене, в присутствии начальника и других лиц, ученики по всем предметам отвечали весьма удовлетворительно... священник Логинов обучает детей их безвозмездно».

Так что Георгий Логинов тоже шел дорогой своего прадеда, по избранному Петром Михайловичем пути духовного обогащения и нравственного совершенствования людей. Он также, как и его прадед, был просветителем. И, думается, у него тоже была не легкая судьба.

Когда же в Авачинской бухте в конце лета 1854 года загремели орудийные залпы англо-французской эскадры, священник Логинов был на самом переднем крае и награжден за мужество и отвагу высшей наградой дореволюционной России — орденом святого Георгия.

Когда же после легендарной обороны Петропавловского порта обезлюдевшая и брошенная на произвол судьбы Камчатка (порт переведен в Николаевск-на-Амуре) была обречена на историческое забвение, в Большерецке, Петропавловске, Тигиле, Палане продолжали обучать камчатских детей священники Логиновы и их северная ветвь, которая с легкой руки епископа Вениаминова с середины прошлого века стала писаться Лонгиновыми, когда он произвел в священники Алексея Логинова.



Святитель Иннокентий (Вениаминов) – апостол Сибири и Америки.

В русско-японскую войну, когда Камчатка, казалось бы, уже была обречена на захват ее японцами, и японские хищнические шхуны обрушились на лососевые реки края, спеша застолбить наиболее богатые места для будущей рыбалки, а на юге полуострова высадился с курильского острова Шумшу японский десант, камчадалы организовали народное ополчение и с оружием в руках встретили непрошенных гостей, отразив в очередной раз нашествие врага, и отстояли полуостров. В рядах народных дружинников на Севере Камчатки сражался паланский псаломщик Алексей Лонгинов, на юге — большерецкие Логиновы — Петр и Павел....

В 1906 году снова появляются на Камчатке учителя, приехавшие с материка. В 1911 году в Петропавловске открыто Высшее начальное училище для подготовки учителей для камчатских школ из местных жителей. В числе выпускников этого училища были и дети другого паланского псаломщика — Василия Лонгинова — Иван и Пантелеймон.

Иван Васильевич позже станет одним из авторов первого корякского букваря. Его заслуги по просвещению жителей Камчатки будут отмечены высшей наградой того времени — орденом Ленина и почетным званием заслуженного учителя РСФСР.



Иван Васильевич Лонгинов с коллегами

Удивительная судьба выпадает и на долю его брата — Пантелеймона Васильевича, ему суждено будет завершить гражданскую войну на Дальнем Востоке страны — об этом мы расскажем отдельно, в очерке «Маршрут бессмертия».

После окончания гражданской войны Пантелеймон Васильевич вместе с тигильчанкой Еленой Алексеевной Логиновой создавал первые школы в корякской тундре — об этом очерк «Клехлвол — учитель».

Вместе с ним придет в тундру и Филарет Иннокентьевич Лонгинов — один из первых советских руководителей Корякии — о нем рассказывается в очерке «Северная песня».

В Великую Отечественную войну боевое крещение приняли Борис, Георгий, Александр, Петр — Лонгиновы.

Ленинград, город декабристов, защищал капитан-лейтенант Краснознаменного Балтийского флота, кавалер семи правительственных наград, тигильчанин, брат Елены Алексеевны Логиновой — Константин.

Но удивительное не в этом. Примеров верного служения Отчизне, своему народу мы можем привести сколько угодно — именно через это наиболее полно всегда раскрывается истинный характер русского человека.

Удивительное в другом — в фантастическом повороте судеб, втянутых ветром жизни в самое горнило истории, в выборе своей судьбы каждым, о ком мы здесь рассказывали...

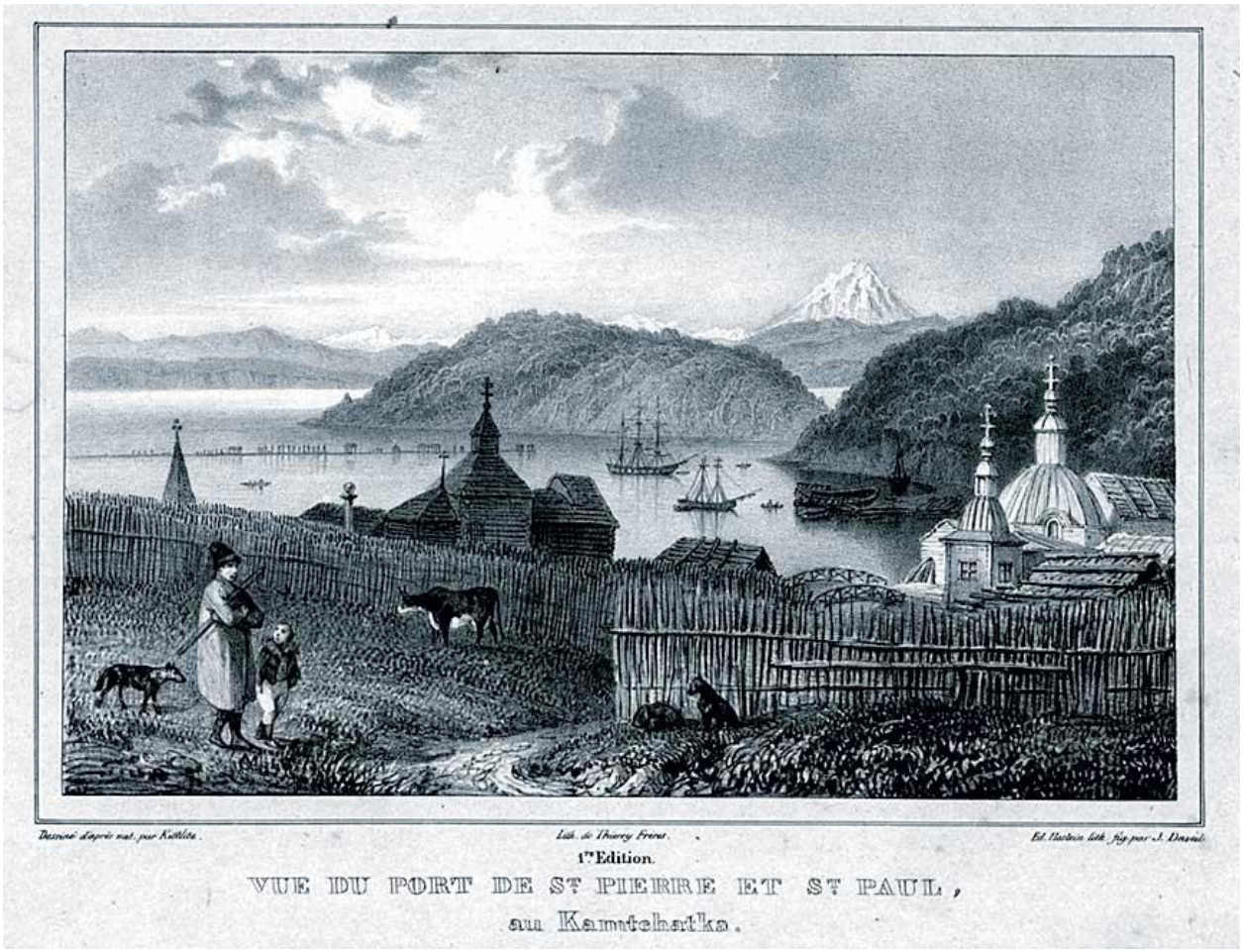
ОПОЛЧЕНЦЫ

Слухи о возможном нападении на Петропавловский порт пришли на Камчатку весной 1854 года. Старый друг русских мореплавателей король Сандвичевых (Гавайских) островов Камегамеа III передал с американскими китобоями письмо для

губернатора Завойко, в котором сообщал о готовности англо-французской эскадры, зимующей у гавайских берегов, идти на север.

Потом пришли новые сообщения из Гонолулу, а вскоре и генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев подтвердил эти опасения о необходимости в самом срочном порядке подготовить к обороне порт.

Окраинная русская земля, восточный форпост России в Тихом океане, отдаленный от генерал-губернатора тысячами верст, должен был в самые короткие сроки осуществить то, что надлежало сделать не одному поколению камчатских командиров еще с 1771 года, со времен Большерецкого бунта, когда впервые возникла реальная угроза возвращения Беньевского из Франции на Камчатку и захвата дальневосточных рубежей империи. С того далекого времени началась подготовка к обороне и, как выяснилось через восемьдесят с лишним лет, мы так и не были готовы здесь к отражению неприятеля.



Не было необходимого количества обученных военному делу людей. Да и просто людей тоже не было в этих безлюдных краях. Не было артиллерии, способной противостоять корабельным пушкам врага. Да и та, что была завезена сюда когда-то, не имела в достаточном количестве ядер и пороха. Стрелковое оружие было из рук вон плохое, как бы бережно к нему не относились здесь. Не было медикаментов. Очень плохо было с продовольствием — оборона ведь могла затянуться надолго, если вообще не превратиться в блокаду порта с моря и суши: единственная дорога, связывающая центр губернии с остальными населенными пунктами проходила по косе — по берегу Авачинской бухты — и могла простреливаться, а то и полностью контролироваться неприятелем.

Единственно на кого можно было еще рассчитывать в это напряженное время — на помощь местных жителей, охотников-камчадалов.

И потому Василий Степанович Завойко, получив последние письма Муравьева-Амурского, сел писать приказ.

«В тяжелые годы нашествия весь народ, как один человек, выступал в защиту своей Родины... Вот почему Россия еще никогда не теряла ни одной пяди земли.... Сюда, на край родной земли, заброшена горсть нашего народа. У нас мало войск, нет хлеба и пока не от кого ждать помощи. Но мы должны помнить, что мы русские люди и Родина требует от нас выполнить долг...»

«Если вы встретите врага, — обращался он к местным жителям, призывая их защищать Отчизну,— то не иначе как с винтовкой в руках. Неприятеля в 1812 году не только что мужики, бабы били чем попало...

Я, пребывая в твердой решимости, как бы ни многочисленен был враг, сделать для защиты порта и чести русского оружия все, что в силах человеческих возможно, и драться до последней капли крови, убежден, что флаг Петропавловского порта во всяком случае будет свидетелем подвигов чести и русской доблести... Если между нами найдутся малодушные, то пусть они тотчас выступят за черту города, а мы заметем их след...»

Во всех населенных пунктах Камчатки был оглашен этот приказ. И сразу же стали прибывать в Петропавловский порт первые народные ополченцы.

В июле прибыла и помощь — пришел из Кронштадта фрегат «Аврора», а вслед за ним из Де-Кастри — военный транспорт «Двина» с 300 солдатами. Город готовили к бою.

29 августа (по новому стилю) у ворот Авачинской бухты появились вражеские суда — фрегаты «Президент», «Пайк», «Форт», «Евридика», бриг «Облигадо», пароход «Вираго». Командовал англо-французской эскадрой английский контр-адмирал Дэвид Прайс. Его заместителем был французский контр-адмирал Фебрие де Паунт.

30 августа англо-французская эскадра вошла в бухту и к пяти часам пополудни подошла к Петропавловскому порту на дистанцию, достаточную для полета пушечного ядра. И грянули первые залпы. Стреляла Перешеечная батарея лейтенанта Максутова, впоследствии получившая новое наименование — «Смертельная». Скоро к ней присоединились пушки батарей мыса Сигнального и Кладбищенской, фрегата «Аврора» и транспорта «Двина», укрывшихся в Петропавловской гавани.

Так начался первый день героической обороны Петропавловска.

А закончился он тем, что англо-французы захватили в плен мирное судно — портовый бот, груженный кирпичами. Шел он с противоположной от порта стороны Авачинской бухты — из Тарьи, где стоял кирпичный завод. На боте было шесть безоружных матросов под командой унтер-офицера Василия Усова, а также его жена-камчадалка — с двумя детьми (с которыми она недавно пришла к мужу в гости из Озерной — севернее Усть-Камчатска). На боте не подозревали об опасности. Эскадру англо-французов моряки приняли за тихоокеанскую эскадру вице-адмирала Путятина, которую все ожидали в Петропавловске со дня на день, а орудийную пальбу — за праздничный салют в честь дорогих гостей.

Подойдя ближе, русские распознали неприятельские флаги и поворотили прочь. Но не тут-то было: за маленьким ботом бросились вдогонку, стараясь перерезать ему путь к отступлению, гребные суда.

«Хотя жаль людей, — писал в своем дневнике мичман Фесун, участник обороны Петропавловска, — попавших в плен, но нельзя было удержаться от смеха перед представившейся картиной. Семь катеров, держась в кильватер друг другу, вели на

буксире бот. По бортам держались по катеру и, наконец, все шествие замыкалось вооруженным баркасом. На корме каждой шлюпки развевался флаг... Один из наших сослуживцев вполне справедливо заметил, что вся эта процессия походит на то, как мыши кота хоронили...»

Надо сказать, что это была единственная победа со стороны англо-французов в период обороны Петропавловска. Да и то не полная...

Дело в том, что на следующий день командующий объединенной эскадрой контр-адмирал Прайс неожиданно покончил с собой и командование принял де Пуант, который-то, благодаря камчадалке Усовой, и сделал эту маленькую и единственную победу неполной.

«Усова рассказывала, — писала позже жена губернатора Юлия Завойко в своих воспоминаниях, — что адмирал — старик, что он ласкал ее маленьких смуглых ребятишек, давал им конфет и говорил матери, или она это уже себе так истолковала, что у него во Франции остались такие маленькие дети. Камчадалка любила это рассказывать. Во время сражения их держали внизу; они говорили, что видели раненых на фрегате. 21 августа (по старому стилю — С.В.) адмирал сказал, что отошлет женщину с детьми, но та с отчаянием ухватилась за мужа и объявила, что не оставит его. Адмирал не мог противостоять слезам и рыданиям женщины. Впрочем, Усов на вид невзрачный, черненький, хиленький старичок. Не подозревал адмирал, какие меткие стрелки наши камчадалы... Выпросив мужа, камчадалка выпросила и брата, на вид почти юношу (матроса Киселева — С.В.)»

2 сентября с берега увидели, как от «Форта» отошел бот и взял направление на порт. Это был русский бот, захваченный накануне врагами. На берегу с бота высадилось все семейство Усовых. Унтер-офицер передал Завойко письмо от контр-адмирала.

«Господин губернатор! Благодаря случайности войны в мои руки попала русская семья. Имею честь ее вернуть Вам. Примите, господин губернатор, мои заверения в моем высоком почтении. Адмирал Ф. Де-Пуант».

Усов и Киселев снова встали в строй.

Мы не знаем, в каких боях приняли они участие, но нужно сказать, что нижние чины и унтер-офицеры Петропавловского военного гарнизона и Камчатской флотилии были, как правило, из уроженцев Камчатки. Сколько их участвовало в боях за порт — никто не считал, сколько погибло — тоже.

Время раскрывает перед нами эти имена. Одним из таких вот камчадалов был Василий Карандашов — казачий урядник, пятидесятник.

Когда англо-французская эскадра вошла в Авачинскую гавань, урядник был назначен артиллеристом на противодесантную батарею № 6 «Озерную», которая защищала вход в город с северо-запада. Это была одна из самых слабых батарей Петропавловска — на ее вооружении было шесть шестифунтовых и четыре восемнадцатифунтовых орудия. Прислуги было тоже немного — 34 нестроевых казака и матроса, писаря, — народные ополченцы. Командовал батареей поручик Карл Гезехус.

Артиллеристам шестой батареи пришлось принять последний удар врага, а пока — 1 сентября — корабельные пушки английских и французских кораблей обрушили свои ядра на батареи мыса Сигнального (они называли его мысом Шахова, по имени одного из командиров Камчатки) и Кладбищенской батареи Красного Яра, закрывающих проход вражеским кораблям в Ковш — Петропавловскую гавань, чтобы подавить эти огневые точки и высадить десант в районе Красного Яра.

Завойко, разгадав замысел врага, приказал взять людей с третьей, седьмой и шестой батарей и занять оборону в районе батареи N 2, расположенной на Кошке и

закрывающей вход в порт вражеским судам. Сам Завойко прибыл сюда же с отрядом ополченцев поручика Кошелева. С «Авроры» Изыльметьев направил на Кошку отряд матросов под командованием поручика Фесуна. И, вероятно, первый свой бой урядник Карандашов принял здесь.

Англо-французский десант осаждал батарею № 4 — Кладбищенскую, подступы к которой никем не защищались. Заклепав орудия и спрятав порох, артиллеристы вынуждены были под натиском превосходящих сил противника отступить на Кошку, где, слившись со стрелковыми частями, пошли в атаку на англо-французов, празднующих было победу. Десант был смят, но тем не менее и англо-французы выполнили первую часть своего плана по захвату порта — подавили батареи № 1 и № 4. Теперь вход в порт преграждала только внутренняя Кошечная батарея № 2.

Более чем из восьмидесяти стволов ударили по ней «Форт», «Президент», «Вираго». Бой длился не один час. На месте убитых русских бомбардиров вставали те, кто учился искусству артиллерийской стрельбы в этом, первом в своей жизни, бою. Вместе со взрослыми в том бою сражались и кантонисты — дети камчатских моряков, которые подавали кокоры к пушкам. Батарея продолжала сражаться и тогда, когда из всех пушек остались целыми лишь три: один только «Форт» выпустил по Кошке 869 ядер, гранат и бомб.

Поняв, что этот «орешек» им не по зубам, командующий эскадрой де Пуант резко меняет первоначальный план и, пользуясь тем, что русские сконцентрировали на Кошке значительные силы, решает высадить десант в районе Перешейка, где располагалась батарея № 3 Александра Максутова. Но и здесь ничего у них не вышло: артиллеристы-максутовцы сорвали коварный замысел де Пуанта.

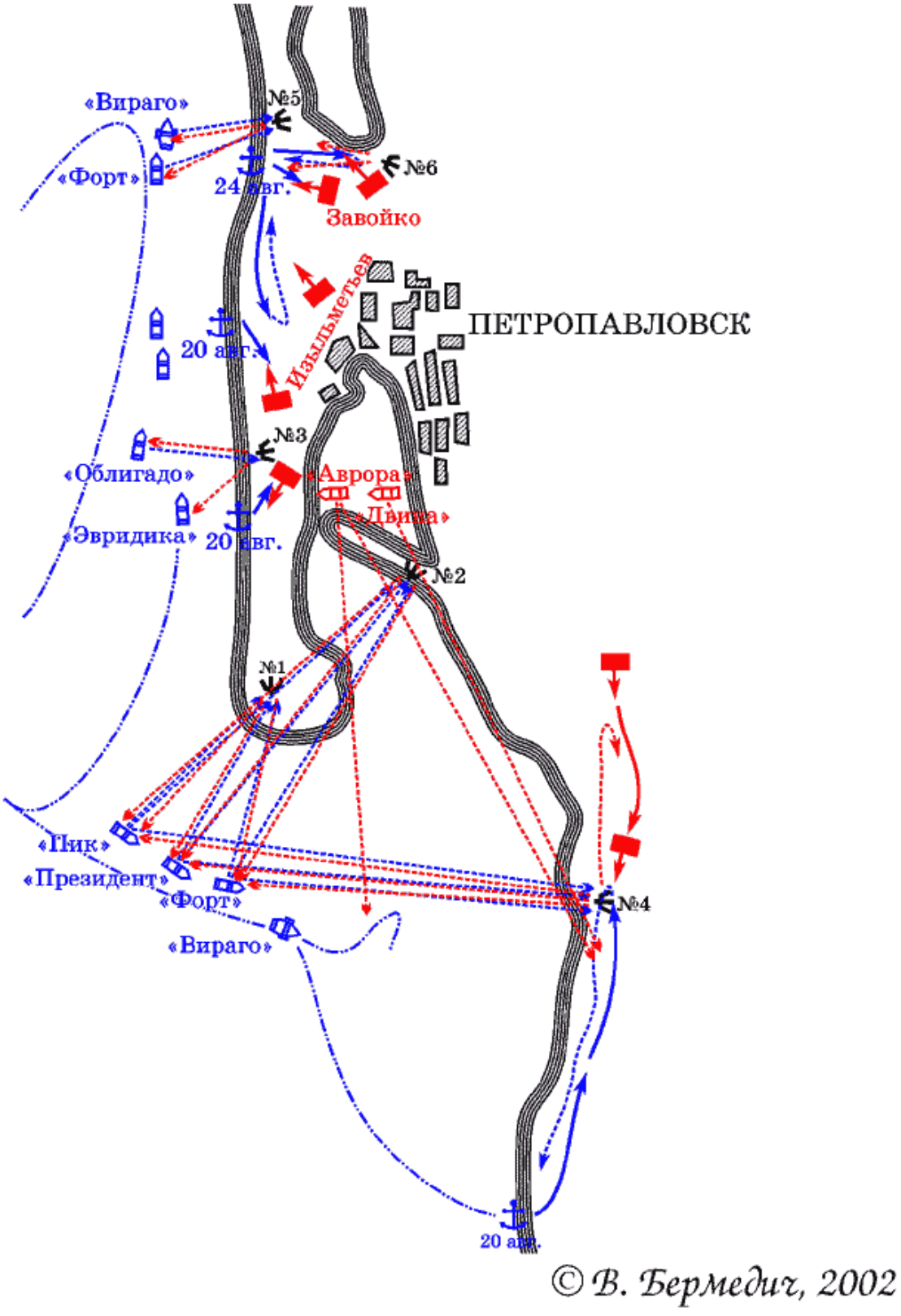
Но адмирал не успокаивается — в следующие дни он решает центром главного удара определить Никольскую сопку и озеро Култушное. Здесь предполагает он высадить крупный десант, предварительно уничтожив батареи № 3, 7, 6, преграждающие путь на город.

Что из этого получилось — известно. Не случайно батарею № 3 с той поры стали называть «Смертельной». Насмерть стояли и бомбардиры батареи № 7 капитан-лейтенанта Василия Коралова.



Авачинская губа

Оборона Петропавловска-на-Камчатке 18-24 августа (30 августа-5 сентября) 1854 г.



Но, тем не менее, эти батареи были уничтожены. Англо-французский десант высадился на берегу у подножия Никольской сопки. Английский, самый многочисленный десант под командованием капитана Бурриджа вышел у Култушного озера на городскую

дорогу. Путь на город этому отряду в 750 штыков преграждала только маломощная шестая батарея. В книге «Петропавловский бой» Г. И. Щедрин так писал о ней: «На батарее № 6 шестифунтовые пушки были настолько старые, что неизвестно кому они были более опасны: тем, по кому стреляют, или тем, кто из них стреляет. Картечи нашлось всего на два заряда. Все пушки этой батареи были поставлены прямо на землю — бруствера соорудить не успели. Вместо него сложили в несколько рядов мешки с мукой, выгруженные с брига «Нобуль».

Не принимая всерьез эту батарею, Бурридж повел своих солдат прямо на пушки. Но уже первые залпы — ядрами и картечью — внесли некую расстроенность в ряды англичан. Затем в ход, вместо картечи, пошли ржавые гвозди. Когда кончились боеприпасы, отстреливались уже из ружей и сдерживали вражеский напор вплоть до подхода «авроровцев», которые смяли десантников.



Георгиевский кавалер Алексей Степанович Карандашев. Из альбома Б. Дыбовского

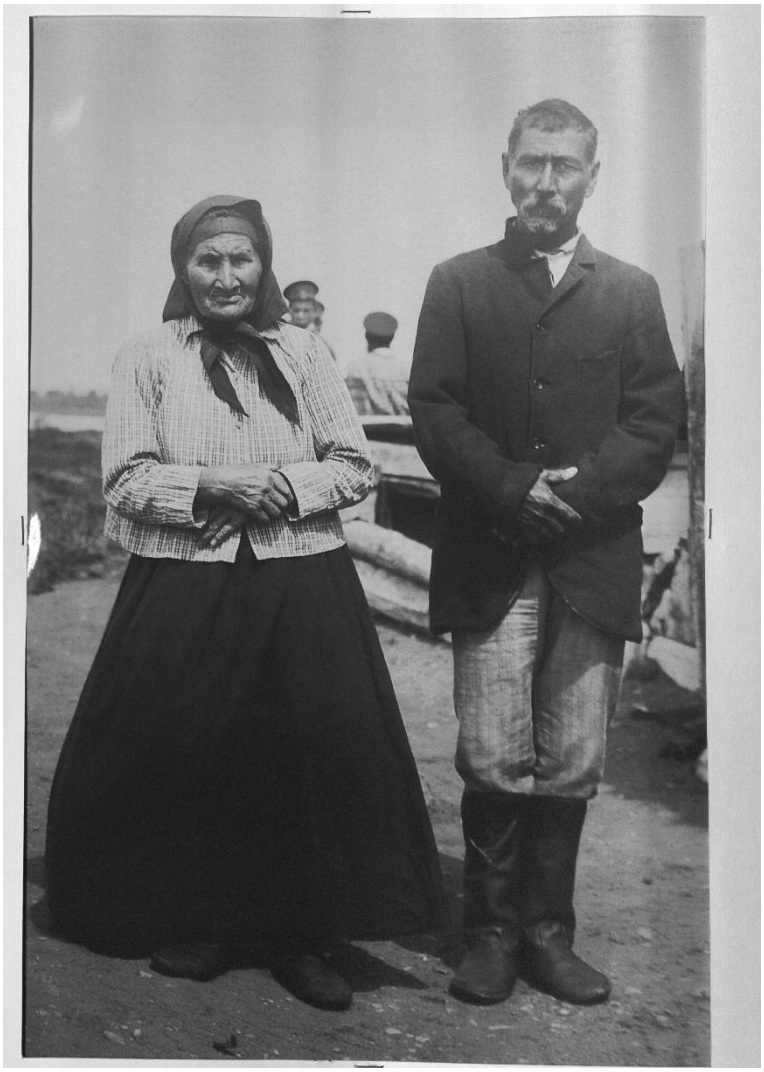
Но через некоторое время Бурридж предпринимает новую попытку захвата шестой батареи. Вот тут-то и отличился урядник Карандашов. Шальная пуля попала в глаз одной

из лошадей, и она понесла пушку в ров. Как раз в это время десантники пошли в очередную атаку. Карандашов, «страшный силач: он бывало кулаком камни разбивал и вколачивал рукою гвоздь в дерево», тяжело раненый в руку, все же поднял опрокинутую пушку, навел ее и «вывел из строя целую шеренгу солдат». Атака захлебнулась и англичане отступили к морю.

Вместе с мужем в этом бою была и Агафья Карандашова. «...Агафья Ивановна, — читаем мы у А. П. Сильницкого,— не пожелала вместе с прочими женщинами спасаться в горы, но пошла на батарею и во время горячего артиллерийского боя... была на батарее, подавала заряды, поправляла лопатой подстроенные земляные закрытия батареи. Ее муж, раненый... осколком снаряда, за неимением перевязочного пункта, лежал тут же, в тылу батареи, и Агафья Ивановна, помимо активного участия собственно в обороне, исполняла роль сестры милосердия и в отношении к своему мужу, уряднику Карандашову, и в отношении к другим героям бессмертной обороны Петропавловска».

Этот свой подвиг Агафья Ивановна совершила раньше, чем знаменитая Даша Севастопольская — сестра милосердия в Севастополе в Крымскую кампанию 1854-1855 — и сестры милосердия Крестовоздвиженской общины, созданной Н. И. Пироговым во время обороны Севастополя, а также раньше англичанки Флоренс Найтингейл, которая считается символом Международного милосердия.

Но подвиг Агафьи Ивановны был забыт, как забыто многое из истории Камчатки, и только через 48 лет после Петропавловской обороны «награда нашла героя» — она была награждена медалью «За усердие», влача полунищенское существование в селе Авача. Только экипажи судов Тихоокеанской эскадры, приходящих в Петропавловск, не забывали народную героиню и поддерживали ее чем могли.



Агафья Ивановна Карандашева с сыном. Фото А. Сильницкого



Из альбома Б. Дыбовского. Дом Карандашеввых в с. Авача

Но память возвращается — 19 декабря 1987 года сто сорок старшеклассников города Петропавловска-Камчатского, члены клуба «Юный медик», решили присвоить своему клубу имя Агафьи Ивановны Карандашовой.

Хотя и не восстановлены еще и по сей день имена других участников обороны Петропавловского порта — а среди них было 167 ополченцев — камчадалов-охотников и горожан. Из них были сформированы три отряда, одним из которых командовал мичман Дмитрий Михайлов с фрегата «Аврора», другим — поручик Иван Кошелев, третьим, в котором были камчатские снайперы-охотники, — поручик Михаил Губарев, полицмейстер Петропавловского порта.

Камчадалы заняли склоны и вершину Никольской сопки: Завойко опасался вражеского десанта, который мог бы ударить в тыл русским со стороны Култушного озера, вдоль берега которого и пролегала единственная дорога, связывающая порт с остальной Камчаткой. Поэтому 1-го сентября, когда вражеский десант действительно высадился, но не здесь, а на противоположной стороне Ковша — Петропавловской гавани, камчадалы могли только наблюдать с сопки, как их товарищи по оружию отражают это нападение.

Но 5 сентября французский десант высадился на перешейке, соединяющем Сигнальную и Никольскую сопки, предварительно уничтожив Смертельную батарею Александра Максутова. А со стороны Култушного озера, отброшенные от дороги огнем шестой батареи, полезли на вершину Никольской сопки английские десантники, чтобы, соединившись здесь с французским отрядом, ударить по порту.

Около тысячи десантников пытались сломить заслон из ста восьмидесяти человек, но меткий огонь ополченцев отбросил врага назад. Воспользовавшись этим, моряки с «Авроры» и «Двины» пошли в штыковую и враг был сброшен в море.

Об одном из тех, кто ковал эту трудную победу на Никольской сопке, мы найдем добрые слова в книге «Петропавловский бой» Г. И. Щедрина: «Искусство меткой стрельбы сослужило хорошую службу охотникам и волонтерам. Били они отступавших на выбор и без промаха. Среди них находился и Дуриндин (Дурынин — С.В.). После каждого его выстрела одним десантником становилось меньше. Рука патриота не дрогнула, пока шальная штуцерная пуля не оборвала его жизнь. Старый охотник-следопыт умер солдатской смертью».

8 сентября 1854 года объединенная англо-французская эскадра бесславно покинула Авачинскую бухту, чтобы вернуться сюда в следующем году. Но они опоздают — в апреле 1855 года гарнизон города вместе со многими жителями будет переведен в новый тихоокеанский порт — Николаевск-на-Амуре.

Обескураженный и раздосадованный де Пуант прикажет открыть огонь по безлюдному городу, чтобы снести его с лица земли. А для того, чтобы отомстить еще более зло, было приказано вести огонь по Петропавловску русским пленным, захваченным в августе 1854 года вместе с Усовым. Комендором был назначен матрос Семен Удалов, остальные — орудийной прислугой.

Позже матрос Ехланов и Зыбин расскажут Василию Степановичу Завойко этот новый эпизод в обороне Петропавловска:

«Семен... не пошел к своей пушке, а стал у грот-мачты и сказал нам:

— Ребята! Грех на своих руки поднимать. Уж лучше смерть.

Сказав эти слова, скрестил руки на груди и во весь голос закричал:

— Слышите?! У русских руки не поднимаются на своих. Я к вашей пушке не иду!

Старшему лейтенанту слово в слово перевели, и он затопал ногами:

— Если не пойдешь к пушке, то сейчас же повешу!

И приказал гордень готовить. А Удалов на него сердито:

— Врешь, такой-сякой француз! Ты меня не повесишь, а к пушке я не пойду!

Бросился он по снастям вверх на мачту и, поднявшись, перепрыгнул с них на ванты, и оттуда нам говорит:

— Ребята! Не поднимайте руки на своих, не делайте сраму. Я принимаю смерть. Прощайте!

И с этими словами — бултых в воду. Он утонул, а на своих руку не поднял».

И снова пришлось уйти де Пуанту, как говорится, не солоно хлебавши. Опозорен был теперь адмирал на весь белый свет. И единственные, кто вспомнил его добрым словом, были, наверное, Усовы. Кто знает, как бы сложилась их дальнейшая судьба, если бы де Пуант не прослезился, глядя на двух смуглых камчадалят, елозящих на его коленях и столь же темпераментно тормошащих «дедушку», как и его собственные внуки.

Одним из этих «внуков» адмирала был пра— (точнее пра-пра-пра-) дедушка моих собственных сыновей.

Род петропавловских казаков Усовых, которые поселились здесь для охраны казенных грузов Второй Камчатской экспедиции еще в начале сороковых годов восемнадцатого века, не закончился в 1854 году, когда жители Петропавловска были, в основном, вывезены в Николаевск-на-Амуре и там продолжали свой камчатский род. Нет,

Усовы оставались в Петропавловске и позже, до начала нынешнего века. Что случилось потом, неизвестно,— память не сохранила — но казачку-сироту Анну Васильевну Усову забрала к себе тетка, которая вышла замуж за ительмена из села Воровское Анкудина Михайловича Спешнева. По фамилии в Воровском никогда никого не звали, так как здесь была на все село одна фамилия — Спешневы, поэтому тетку все кликали по прежней ее девичьей фамилии Черных - Черниха.

Но скоро и в Воровском осиротели.

В русско-японскую войну Анкудин Михайлович, как и все камчадалы, был в народном ополчении и участвовал в боях — 9 августа 1904 года вместе с Максимом Ивановичем Сотниковым — заведующим обороной западного побережья Камчатки — ительмены из Воровского разгромили экипаж хищнической японской шхуны, высадившийся в устье реки Воровской для промысла лосося. Вместе со всеми нес он караульную службу на устье реки и летом следующего, 1905 года, когда реальной оставалась угроза высадки военного десанта японцев, как это было в устье западнокамчатской реки Озерной в июле 1904 года. И народные ополченцы во всех уголках Камчатки готовы были в любой момент этот десант отразить.

У японцев тогда ничего не вышло: камчадалы отстояли свою землю и сохранили ее за Россией. Но в целом русско-японская война была проиграна царским правительством, которое вынуждено было просить о перемирии и было согласно на подписание русско-японской рыболовной конвенции.



Максим Иванович Сотников с казаками и ветеранами обороны Петропавловского порта (фото А. Сильницкого)

Воспользовавшись этим, японцы вновь обрушились на камчатское побережье — им нужен был лосось и они не хотели упускать сроки, пока готовится эта конвенция. Кроме того, они спешили застолбить наиболее уловистые рыболовные участки на будущее, когда будет получено официальное разрешение на арендное пользование камчатскими побережьями и право на беспошлинный провоз в Японию камчатской рыбы. Добравшись до Камчатки, японцы предпринимали самый хищнический из всех видов промысла — перегораживали своими сетями устье реки и вылавливали всю рыбу, которая шла в реки на нерест.

Этого ни в коем случае нельзя было допустить, как ни морщилось недовольное камчатское начальство, боясь, что новые возможные столкновения с японцами вызовут

отрицательную реакцию наверху, где шли Портсмутские переговоры о подписании мира и фактической сдаче в аренду Японии обоих камчатских побережий.

16 июня 1906 года в устье реки Воровской хищнический промысел вели сразу пять японских шхун — Футами-мару, Тендомин-мару, Хоси-мару, Хигаси-мару и еще одна, название которой осталось неизвестным.

Максим Иванович Сотников, который в штатской своей жизни был надзирателем за рыбными промыслами, вместе с жителями села Воровского отправились к устью, где и арестовали шхуны. Экипажи приняли это известие спокойно и не возражали против подписания протокола о браконьерстве и задержании.

На морском берегу, рядом с устьем, они разбили лагерь, построили несколько сараев для посолки рыбы, выставили сети и поймали уже шестнадцать тысяч рыбин.

Когда Сотников объявил японцам, что согласно закона он конфискует шхуны, те, пользуясь численным превосходством, напали на Сотникова и камчадалов.

В тот день — 18 августа 1906 года — погибли вместе с Максимом Ивановичем восемь Спешневых — Анкудин Михайлович, Александр Григорьевич, Василий Петрович, Гавриил Прокофьевич, Гавриил Степанович, Иван Васильевич, Сергей Степанович, Феофан Степанович...

А незадолго до революции в Воровском (в то время село уже переименовали в честь камчатского губернатора в Мономахово) появился ссыльный с Урала Степан Матвеевич Копьев. Он был в партии рабочих, которые тянули вдоль западного побережья Камчатки телефонно-телеграфную линию. Приглянулись друг другу Степан Матвеевич и Анна Васильевна, поженились они, решили жить своим домом. Но в Мономахово русским селиться в то время было не положено.Это было ительменское поселение, жители которого платили ясак русскому царю, поэтому свободное поселение русских было запрещено и разрешалось только по особому распоряжению высокого начальства.

Тогда Степан Матвеевич срубил себе избу на реке Удова. Затем здесь поставил свой дом местный учитель Попов, которому тоже надоело слоняться по чужим углам. Потом появился еще дом, еще, а 7 февраля 1921 года в Камчатском областном народно-революционном комитете в протоколе под параграфом № 3 появилась эта вот историческая запись:

«СЛУШАЛИ: Ходатайство жителей Мономаховской (Соболевской) волости С. М. Копьева, С. А. Марченко, И. Г. Засыпкина, М. П. Сараева, П. И. Панчу, М. И. Попова и других граждан этой волости, поселившихся на реке «Удова», о разрешении наименовать образованный ими поселок — «Русь» с заключением по означенному вопросу Соболевского волостного нарревкома от 16 января 1921 года за № 5.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить название поселку «Русь».

И когда вновь постучалась беда в двери каждого дома — началась Великая Отечественная война — многие из камчадалов пошли на фронт. Кто на запад — сражаться с фашистами, кто на юг — освобождать от японцев Курильские острова, открытые Иваном Козыревским и впервые пройденные вплоть до Хоккайдо русским же замлепроходцем — большерецким казачьим сотником Иваном Черных.

ПОТОМОК ПЕРВОПРОХОДЦЕВ

Он родился почти с новым веком: восьмого сентября тысяча девятьсот первого года. В семье казака. И после смерти отца сам стал, как это было положено, казаком Камчатской команды. Казаком потомственным, чей род пустил корень в этой дальней земле лет, может, двести назад, возможно даже с тех пор, как привел сотник Тимофей Кобелев первый отряд поселенцев на Камчатку, которые, отстроив здесь крепости-остроги, осели в здешней земле, собирая ясак в казну государеву и собственную с непокорных ительменских родов.

А через двести лет инородцы-камчадалы сами ясак платили исправно и вовремя, без роптаний несли повинности, и властительными чиновниками жестоко эксплуатировалось теперь небольшое число оставшихся на полуострове казаков, рожденных от ительменских мамок: и с почтой они маялись, сопровождая на батах или собачьих нартах ее из Петропавловска в казачьи села — Усть-Камчатск, Тигиль, Ново-Маринский пост (Анадырь), Якутск и обратно — за тысячи верст. Охраняя ясак, выезжали за море-океан, в порту несли охрану казенных складов, на мысе Лопатка — бобровых лежбищ, а то и просто в денщиках прислуживали у начальства окружного или губернаторского, всюду терпеливо снося муштровку, зуботычины и холодный карцер. И все — за «шинелку» с погонами, паек и штаны с лампасами.

И несли свою службу каторжную, не подозревая даже о золотых денечках патриархов их старинных казачьих родов, и вставали на смену отцам, верные присяге своей и долгу перед царем-батюшкой...

Но вот свергли царя-батюшку, и шестнадцатилетний Сергей Селиванов попал в водоворот таких событий, о которых сегодня трудно говорить объективно. Поэтому мы продолжаем этот и последующий свой рассказ о гражданской войне и Советской Камчатке на основе того, что говорили о себе в восьмидесятых годах, когда и были написаны эти очерки, сами герои: в газетных ли статьях, при встрече с автором, или говорили и оценивали моих героев и их поступки самые близкие для них люди. А история потом разберется: кто был или не был прав...

* * *

Восемнадцатый год... Камчаткой управляет колчаковский ставленник Червлянский. Коммунисты в глубоком подполье. Их здесь не так уж и много — ведь главные события гражданской войны решаются сейчас на материке.

Белякам здесь бояться особо-то и некого. Червлянский и иже с ним спокойны. Камчадальское население за эти два века приручено, по их мнению, к такому покорству, что вряд-ли в чью инородческую голову придет мыслишка о свергнутых большевистских Советах. А придет — хватит здесь штыков, чтоб ее, каналью, оттуда ковырнуть. А еще где зашевелится — своими же руками и продырявят камчадалы эту голову: для того и создается в Петропавловске Камчатская военная команда из инородцев. Скорее же всего никого дела этой команде на Камчатке не найдется — так что отправим-ка этих камчадалов помогать адмиралу Колчаку в Сибири. Здесь же и милиции своей хватит: вооружены до зубов, военное дело и солдаты, и казаки знают, а то, что числом их не так много, так ведь и людишек в Петропавловске — раз-два и обчелся. Глубинка

камчадальская не в счет — она за горами, за долами, за болотами, в тайге дремучей и тундре... Люди там тоже дремучие: нет им никакого дела до той революции в России, до Ленина и Колчака... Власть для них — кто дерет больше (другой не знают), так что здесь, на Камчатке, можно переждать всю эту революцию и войну гражданскую, как у бога за пазухой....

...Коммунистов в Петропавловске было только двое: Маловечкин и Воловников. И еще один кандидат — Фролов. А задача ставилась серьезная: нужно было сорвать формирование военной команды и завоевать доверие петропавловских милиционеров. Цель везде преследовалась одна — свержение колчаковской власти и установление Советской. А без вооруженных отрядов сделать это было попросту невозможно. Так что другого пути у них не было. И действовать нужно было без проигрыша....

А как? — рассуждали они, собравшись на конспиративной квартире. На кого опереться? И есть ли она, эта опора, здесь?

Камчадал? Оторванный от всего происходящего в стране? Не понимающий, а то и просто не подозревающий, что и где происходит?

Казак? Человек той социальной касты, что вымуштрован веками верноподданической службы на благо его императорского величества, будь то Дон или Забайкалье, Кубань или эта самая Камчатка?...

Иль, может, на сынков купцов Машихиных, Подпругиных или Ворошиловых понадеяться? Так они своих сыновей сами, добровольно позаписывали в эту самую команду.

И все-таки, — соглашались между собой подпольщики, — опора должна быть. Ведь кто такой камчадал? Обездоленный, обворованный, замордованный инородец. По рукам и ногам связанный своим вечным долгом — ясаком. Зависящий от промысла рыбы или зверя, как та же чавыча от воды, и нет силы такой, чтобы оторвать его от реки или тайги. Разве лишь смерть. Может ли он стать по эту сторону баррикады? Если очень поверит в то будущее, в которое верим мы, коммунисты.

А казак? Это ведь тот же камчадал, но с дополнительной повинностью: то ли воинской, то ли полицейской, сразу и не поймешь. Недаром же он сам себя каторжником называет — значит и его эта власть допекла. И он подневольный. Так что, если поверит нам, коммунистам, будет с нами.

Кроме них там, в команде милиции, есть еще и русские: демобилизованные солдаты, бывшие сезонники с рыбных промыслов, то есть своя, пролетарская косточка, которые не по доброй воле пошли на службу...

А что касается сынков купеческих и папаш ихних — поговорим с ними позже. Придет время. А теперь давайте-ка распределим силы. Мы с Маловечкиным займемся военной командой. А ты, Фролов, давай записывайся в милицию. С завтрашнего дня — 1 августа. Иди, Фролов, действуй...

А во вторую годовщину февральской революции на общем собрании граждан Петропавловска по поручению подпольного комитета решено было дать слово Маловечкину. Чтобы привлечь на свою сторону население, коммунисты решают действовать открыто и идут на смертельный риск: Маловечкин гневно обличает на собрании зверства палачей-колчаковцев в Сибири и Приморье, говорит о самых насущих проблемах Камчатки — о снабжении ее продовольствием и о кооперации. После его выступления равнодушных не было.

Взбешенный начальник милиции Закржевский подскочил к своим милиционерам.

— Арестовать! — махнул он рукой в сторону окруженного говорливой толпой Маловечкина.

— За что? Он сказал правду, — глядя прямо в глаза колчаковца, спросил старший милиционер Фролов.

Закржевский резко повернулся к стоящим рядом милиционерам Косыгину, Варнавину и Сергею Селиванову.

— Он говорил правду. Его не за что арестовывать...

Закржевский побежал в казарму. Но и оттуда он выскочил один.

...В ночь с 9 на 10 января 1920 года мела пурга. Ветер сбивал с ног. Сухая снежная крупа царапала лица, обжигала холодом руки, сжимающие винчестер или винтовку.

Город точно вымер в эту ночь — даже собаки молчали, хотя — Сергей это знал точно — по всем трем улицам Петропавловска — Большой, Таможенной и Третьей двигались вооруженные отряды.

К утру все колчаковцы были арестованы. В двенадцать часов дня состоялось общее собрание. Пришла, как и в 1917-м, новая власть...

* * *

Осень двадцать первого... Из Читы поступило сообщение о военной экспедиции белых на Камчатку. На военных транспортах двигался отряд генерала Полякова и уполномоченного правительства — камчатского рыбопромышленника Бирича.

Облнарревком принял решение о создании партизанского отряда, командиром которого был назначен начальник петропавловской милиции Н. П. Фролов. С ним готовились уйти в сопки и все его сотрудники.

В конце октября в Авачинскую бухту вошли японские суда: крейсер «Ивами», миноносец и транспорт с военным десантом, а еще через несколько дней — русские военные пароходы — «Свирь», «Кишинев», «Батарея».

Партизаны отошли за город, где у них были заранее подготовлены базы. Отряд был небольшой — двадцать один человек — и противостоять белому гарнизону, конечно, не мог. Поэтому было принято решение об отходе в с.Колыгирь, за сто километров от города, чтоб поднять на борьбу с белогвардейцами охотников и рыбаков всех окрестных сел — Жупаново, Налычево, Шемлячика... После того, как отряд вырос, партизаны снова подошли к городу и перекрыли дорогу в центр Камчатки на с.Завойко, намертво блокировав белых в городе. Холода стояли жестокие, но посты на дорогах не снимались круглые сутки. А скоро был дан и первый бой...

Командир разведки В. М. Чекмарев сообщил в штаб, что из Петропавловска вышла группа белогвардейцев, человек тридцать. Главный у них — подполковник Лукомский. Цель: пробиться на западное побережье Камчатки.

Тревога. Краткий приказ. И вот уже партизанская засада на дорожном перевале зарылась в снег — белые камлейки хорошо скрадывали бойцов.

Показались нарты. Следом, на лыжах, двигался отряд. Солдаты не ожидали никакого нападения — видимо, думали, что слухи о партизанском отряде —

обыкновенная выдумка. Но дружный залп из винчестеров убедил их в обратном, смешал ряды. Кто-то, правда, попытался было отстреливаться,но камчадалы-снайперы быстро находили в снегу серую мишень. Белые спешно повернули назад. Сам Лукомский соскочил с нарт и бросился в лес. Но его уже держал на прицеле партизан Тимофей Трухин.

А на другой день против партизан выступил с отрядом в 80 человек сам генерал Поляков. Он хотел одним ударом уничтожить малочисленный партизанский отряд. Бой длился больше часа. И он тоже оказался проигрышным для белых, несмотря на изрядный перевес в силе. Потеряв убитыми шесть человек, белые вынуждены были отойти в город. Блокаду прорвать им не удалось.

* * *

Весна двадцать второго... Сергей Селиванов служил в партизанской разведке. Лучшие лыжники отряда собрались здесь. И недаром прозвали их красными орлами, и группу — летучей: словно на крыльях перемахивали сопки, чтоб за Мишенной у Сероглазки в дупле ветвистого тополя или березы найти сообщение жены своего командира, которое тайно приносила сюда шестнадцатилетняя связная Вера Панова. Или через Петровскую и Красную сопки по берегу Богородского озера выходили к колонии прокаженных в Раковой бухте, где встречались с другим связным — фельдшером Беляевым.

Но чаще всего Сергей пробирался тайком в город, домой. Отчим, Константин Александрович Штрандман, тоже был партизанским связным.

...На этот раз Сережа пришел пораньше — по сопкам только-только разливались сиреневые сумерки.

Бил тело сухой колючий кашель. Горло драло внутри, точно кто его веткой шиповника прочистил. Жар опалял лицо, сушил губы...

В отряде разрешили остаться дома до утра. Немного отогреться, но с рассветом, получив разведданные, обязательно уйти.

Ночью разбудили громкие удары в дверь. Били чем-то тяжелым. Скорее всего — прикладом.

Только успел скользнуть в подпол, как тяжелая крышка захлопнулась. На колени упало что-то мягкое и обступила темень... А наверху раздавались чьи-то голоса. Спрашивали о нем. Видимо кто-то заметил и сообщил. Или просто проверка — на всякий случай, дом-то на подозрении.

А кашель подступал все ближе и ближе. И уже не было сил сдерживаться, когда рука снова коснулась мягкого, что бросила ему сюда в последний момент мать: подушка! И Сергей ткнулся в нее лицом, содрогаясь всем телом в кашле... Белые ничего не услышали. Обессиленный, прямо на картошке и уснул. Его укутали потеплее, а будить не стали — все не под кустом в лесу, не в обледенелой землянке.

Утром, с донесением Штрандмана, минуя посты белых, прошмыгнул за город. Идти было тяжело: лыжи шаркали по оплывшему заледенелому снегу, как по наждаку. Сергей снял их и пошел пешком. Был уже крепкий наст, и он даже не проваливался. Значит, весна скоро, — радостно отметил он про себя. — Настоящая весна — с ручьями, теплом, солнцем. Сергей огляделся. Ого! Почки вон уже как понабухли — клейкие, тугие, нажми

— сок брызнет. Да, скоро уже земля откроется, обдаст парным теплом. А там, глядишь, и белым конец. Недаром дядя Костя говорит — лютуют они в городе. И лиса в капкане скалится. А потом лапу отгрызет и — в тайгу. Нет, этих зажали крепко. Только за японскими пушками на крейсерах и спасаются. Но в Камчатку не прорвутся. Разве только на пароходах уйдут. Ну и пускай дают деру...

А денек разгорается славный: солнышко хворь как рукой снимет. И приятно сознавать, что ты сдюжил, сдержал свое слово, клятву свою, данную еще в двадцать первом, когда коммунисты отряда приняли тебя вместе с Василием Зориным в комсомол...

Он навсегда останется в памяти, тот день, та клятва: «Клянусь, что жизнь свою посвящу борьбе за освобождение и счастье трудового народа... не испугаюсь трудностей... выдержу все испытания... и если потребуется, отдам свою жизнь для строительства новой жизни на земле...»

Нет, никто не скажет, что подвел Серега, не сдержал своего слова, сдрейфил. Он готов продолжать борьбу. А вот беляки зашевелились: дядя Костя говорит, что скоро прибудет в Петропавловск какой-то батальон смерти... Да, нужно будет сразу целый батальон покойниками делать, чтобы это их название оправдать... Так что надо спешить в отряд, время не ждет, еще не время на солнышке греться... Но придет оно, наше время!...

* * *

Лето 1922 года... Начальник штаба партизанских отрядов (возле Петропавловска дислоцировалось уже четыре партизанских отряда) Фролов прочел экстренное сообщение связного из города. Нахмурился. Приказал собрать разведчиков.

— Вот что, ребята. Нынешний комендант города, капитан Поярков, приказал никого не выпускать из города. А кто попытается пройти в город или уйти — арестовывать и пытать, как партизанских связных. Короче, прекратив торговлю, он хочет оставить население уезда без продуктов и настроить народ против партизан: дескать, это они перекрыли дорогу. А в результате попытаются использовать это недовольство для массированного удара по нам — там, глядишь, и завойкинцы в спину ударят — кулачье. Пора, орлы, кончать с этим выродком — достаточно уже он нашей кровушки попил. Есть план. Мне сообщили, что в последнее время комендант постоянно ночует в одном из домишек на Третьей улице. Что если мы зайдем к нему в гости с Петровской сопки и попотчуем горячим ужином? А? Ну, тогда готовьтесь в ночь. Погодка сегодня в самый раз...

...Смеркалось быстро. Когда поднялись на вершину Петровской сопки, лишь Авачинская бухта чуть светилась внизу, да кое-где в подслеповатых окнах городских домишек бился изнутри дрожащий огонек жирников или свечей, а все остальное поглотила тьма — густая, как растопленный вар для просмолки шлюпок.

Спускались осторожно, друг за другом. Фролов, Метальников, Трухин, Пересвет-Солтан, Старцев, Селиванов.

— Т-с-с... Ложись. Кажись, пришли.

Две тени метнулись к ограде и растаяли в темноте. Дождь скрадывал шаги. И только врожденное чутье подсказывало, где сейчас Метальников и Трухин.

Вот они пересекли двор. Пробрались к окну.

— Пошли, — толкнул Сергея в бок сосед, — нас зовут...

Трухин уже пристроил у окна небольшой бочонок, влез на него, прижался щекой к прикладу винчестера. Полыхнул из ствола огонь. Грохнул выстрел. И зазвенели осколки стекла, разбрызгивая свет...

* * *

С открытием навигации 1922 года в Петропавловск из Владивостока прибыл батальон смерти. Командир батальона Ильин был назначен новым комендантом Петропавловска и сразу же приступил к разработке плана уничтожения партизанских отрядов, дислоцирующихся в районе сел Халатырка, Паратунка и Авача.

Вечером 31 июля паратунским партизанам из отряда Г. Елизова сообщили, что пароход «Свирь» подошел к берегу и высадил десант в бухте Тарья — не менее тридцати человек. К ночи они могут быть уже в Паратунке. Жители спешно покинули село. Остались лишь несколько парней, которым доверили в паре с партизанами занять посты, и семь партизан — остальные в это время были в разъездах...

Никто не спал в эту ночь. Под рукой было оружие. А время тянулось медленно, как унылый вязкий дождь на дворе. Конечно, можно было отступить — силы были слишком не равны. Но важнее отстоять село — ведь людям нужно будет куда-то возвращаться. И они верят в партизан. А потому необходимо принять бой.

И об этом бое Сергей Афанасьевич Селиванов будет вспоминать потом:



Сергей Афанасьевич Селиванов

«Была глубокая ночь. Хотелось спать. Командир уже было принял решение — снять часового с наблюдательного пункта у церкви, как вдруг раздался неистовый лай собак. Дверь избушки открылась и мы услышали крик часового:

— Нас окружают белые!

Мы немедленно бросились на улицу и услышали властный голос своего командира: «Товарищи! К бою приготовьтесь». Одновременно незнакомый голос где-то подал команду в темноте «пли!». И ночную тьму прорезали огненные языки из нескольких десятков винчестеров. Не успев даже выстрелить, упал смертельно раненый командир, наш товарищ Елизов. Укрываясь за линией огня, мы яростно сопротивлялись. Расстояние между нами — горсткой партизан и во много раз превосходящим нас белым отрядом — составляло не более 10-15 метров. Отстреливаясь, мы вынуждены были шаг за шагом отступать, унося на руках раненого командира. В это время пошел проливной дождь. За нами еще слышался треск винчестеров, но белые, видимо, не ожидавшие такого яростного отпора, побоялись преследовать нас в темноте. Постреляв еще немного, белобандиты оставили село. И когда на другой день в него прибыл весь наш партизанский отряд, от белых не осталось и следа».

Елизова похоронили здесь же, на месте его последнего боя.

* * *

В августе Ильин разработал план нападения на главный партизанский отряд, штаб которого размещался около села Авача.

«Мы начали готовиться к бою, — вспоминал Н. П. Фролов, — все мелкие партизанские отряды собрали вместе, усилили разведку, а в ночь на 15 августа, когда из города должны были выйти белогвардейцы, мы заняли самые важные укрытия на подступах к Аваче, а один отряд послали контролировать дорогу на Завойко.

Рано утром показались белогвардейцы. Впереди шла разведка. Мы ее пропустили, а как только основная часть белогвардейцев вышла на открытое место, дали залп. Белые бросились с дороги по направлению к Авачинской бухте и стали отстреливаться. Крутой берег на время скрыл их. Но партизаны обошли берег и с двух сторон снова открыли огонь. Белогвардейцам пришлось спуститься по крутому берегу к Авачинской бухте и по берегу уйти в город. Так бесславно закончилась авантюра, на которую возлагали столько надежды Поляков и Бирич. В этом бою мы не потеряли ни одного человека... героически сражались все партизаны, и особенно отличились Метальников, Глухарев, Мандебуро, Старцев, Пересвет-Солтан, Чекмарев, Ивашкин, Селиванов и другие...»

* * *

Осень 1922 года завершилась. Подходила к концу и гражданская война на Дальнем Востоке.

10 ноября партизанские отряды вошли в Петропавловск. В городе установлена Советская власть. Милиционеры-фроловцы вернулись к прежней службе, не менее сложной и опасной, чем в партизанском отряде. Они были и чекистами, и таможенниками, и сторожами, и следователями. На службе, во время обыска у оружейника Киселева, встретился Сергей со своей Наташей.

В городе с 1923 года действовала инициативная группа — Виктор Соловьев, Алексей Шишкин, Борис Григорьев, — подготавливая первый отряд камчатской молодежи для вступления в комсомол и создания комсомольской организации Камчатки.

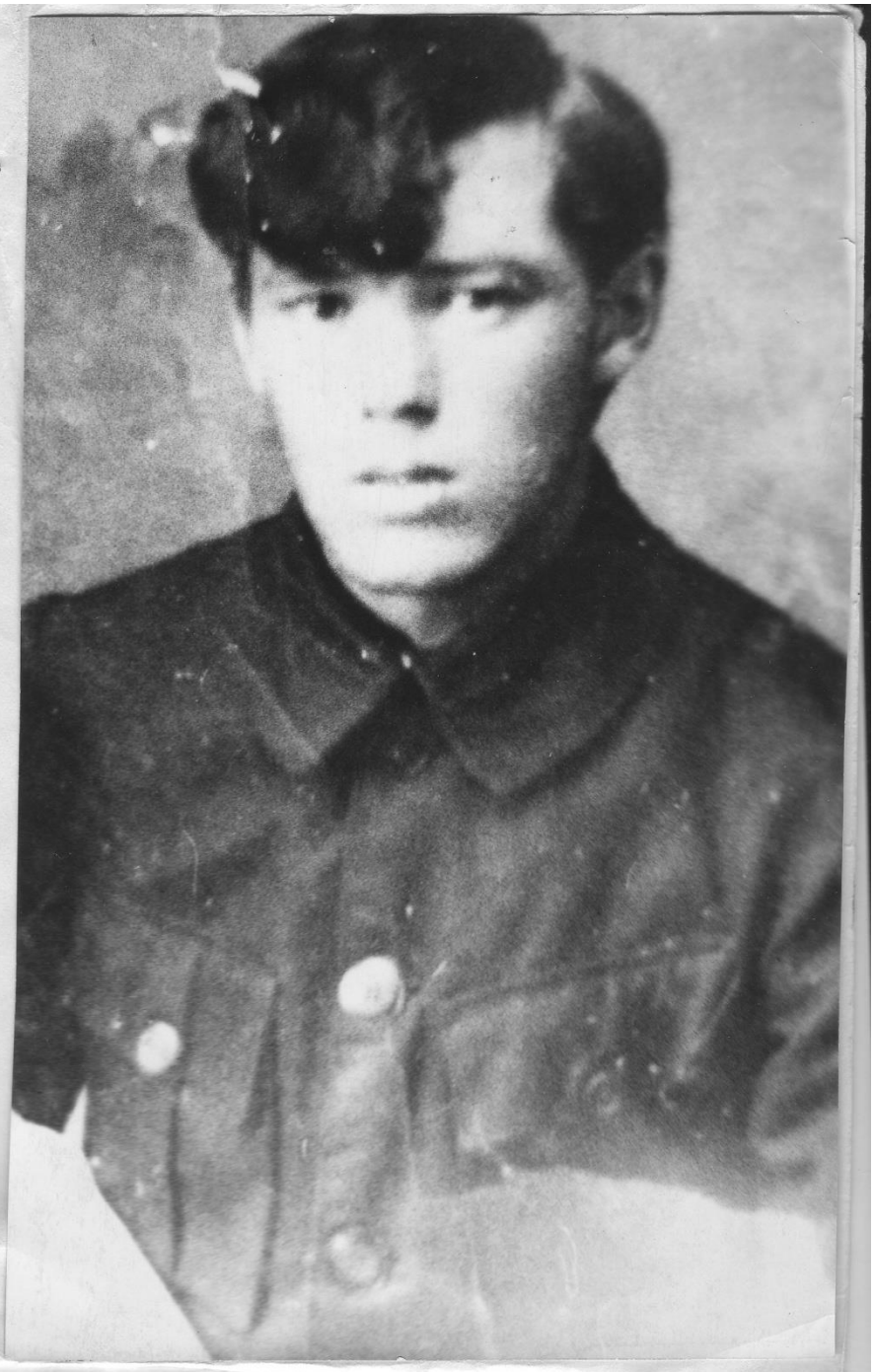
Собрание состоялось 8 июля 1923 года.

В областной газете «Полярная Звезда» 22 июля этого же года был опубликован список тех, кто получил билеты с первыми камчатскими номерами — восемнадцать действительных членов РКСМ, девять кандидатов с трехмесячным стажем и четыре кандидата с шестимесячным стажем.

Но были уже и свои ветераны комсомола — секретарь горрайкома Виктор Соловьев, красные партизаны Василий Зорин и Сергей Селиванов, оперативные работники органов ГПУ Александр Домман, Алексей Чмыхалов, Леонид Суворов, Петр Могутин, Николай Одляницкий...



Их государственного архива Камчатского края



Сергей Сашванов, секретарь ячейки на Камчатке ячейки РКСМ в 1923, члена Камчатского губбюро в 1924 и последующие годы.

Фото из личного архива М.П. Ефимовой

После отъезда с Камчатки Соловьева секретарем горрайкома избран Сергей Селиванов. В тот же год он подал заявление о вступлении в партию и стал коммунистом ленинского призыва...

* * *

Он был в самой гуще событий и дел. Его ставили на самые ответственные участки, и он брался за новое дело уверенно, напористо, азартно. И никто не знал, что он уже болен, неизлечимо по тем временам...

Член губбюро РКСМ, коммунист Селиванов в 1925 году направлен в Усть-Камчатск, где начинается строительство первенца советской рыбной промышленности на Камчатке — рыбоконсервного завода на восемь линий.

В 1928 году начинается подготовка к коллективизации. Сергея избирают секретарем сельсовета в Елизово. И здесь, в Хуторе, демобилизованные камчатские пограничники создают первый на полуострове колхоз.

В 1932 году Сергея Афанасьевича командируют в таежное село Ключи. Теперь он плановик-экономист на Ключевском деревообрабатывающем комбинате — первом лесоперерабатывающем предприятии Камчатки, пущенном в этом самом, 1932-м году...

Все было новым по тем годам. А у него было церковно-приходское образование и несколько классов духовного училища, из которого он был изгнан за непослушание... Основу новых знаний положила учеба на рабфаке во Владивостоке. Это было в 25-м. Потом уже и знания, и силы брались из бессонных ночей и постоянной сжигающей его работы.

В 1941 году пошел на фронт. Не допускал мысли, что имеет право на бронь, что может быть негодным по состоянию своего здоровья. И добился своего — ушел добровольцем... А через девять месяцев привезли его обратно. И жена Наташа, Наталья Трофимовна, не узнала мужа своего, Сережу, в этом старике с седой, по пояс, бородой.

А он невыносимо страдал. И страдал не столько от боли, сколько от собственной беспомощности. И сжигал себя уже этим. Сжигал дотла...

* * *

И дети пошли в него.

Шестнадцатилетний Интерн в войну устроился на пароход юнгой. Потом выучился на моториста. Работал в морском торговом порту. По комсомольской путевке после окончания войны Интерн Сергеевич был направлен на Южный Сахалин, освобожденный от японцев. И тут раскрылся отцовский характер: простудился в море во время работы и умер совсем молодым.

Затем в самостоятельную жизнь вступил Анатолий. Его приняли учеником радиста. Тоже в шестнадцать лет. Азбуку Морзе он освоил в первую же ночь. В первую свою бессонную ночь. Такой уж тоже был характер. Отцовский. Литой.

Уже опытным специалистом, мастером послали его на соревнования в Москву. И Селиванов был в первой десятке лучших радистов страны, представляя далекую Камчатку.

Он увлек своим делом и младшего брата, Сашу, теперь уже Александра Сергеевича. Выучил его радиотелеграфному делу. И Саша получил трудовую книжку одновременно с паспортом. По-селивановски, они не боялись никакой работы, выполняя ее честно, как это сделал бы отец. Как делал он это всю свою жизнь.

МАРШРУТ БЕССМЕРТИЯ

Февраль стоял злой. Мороз дыхание перехватывал. А то — пурга срывалась. Сухая, обжигающая, лютая. Будто другой погоды здесь и не бывало. И год голодный — после недохода рыбы в 1922-м. Да и мужики — все, кто рыбными делами должны были заниматься, охраняли все лето побережье от белых. А закон камчатской природы таков: лето пробедовал — зимой погорюешь, повоешь от голода, как вон те собаки, что дерутся сейчас из-за куска кислой рыбы.

Над Паланой — деревушкой северной — дымы молочные, упругие, стоймя стоят. Иней, как свежий снежок — по щиколоть. Блестит. Переливается. Скрипит под торбасами. Ветки тальника ледяными хрусталиками, как бисером, так тесно унизаны, что издали кажется — в заячью шкурку кто-то завернул, и мех — густой, толстый...

...Тигильчане пили в избе черный чай. Блестели лбы в росинках пота. Цокали, рассказывая, как подловили летом белых на Тигиль-реке, как добирались нынче в Палану, чтобы двинуть отсюда на север, к белой Гижиге; о том, что подходят сюда красноармейские отряды из Петропавловска добивать супостатов. Они уже где-то совсем рядом. В пути должны соединиться. Два отряда идут: один — по западному, другой — по восточному берегу. По десять человек в каждом. Тигильский — третий. И здесь десять человек. С недельку отдохнут в Палане, пока отряд командира Чубарова подтянется. И вперед. До Каменского — там уж все вместе соберутся.

Их слушали внимательно. Переспрашивали о тигильских родниках — о событиях летних и об отрядах красноармейских были понаслышаны — Палана, наверно, волостной центр!

Потом паланский командир партизанского отряда Сарафанников повернулся к Пантелею Лонгинову:

— А ты, однако, парень, собирайся. Без толмача там не обойтись. Семьи у тебя нет — так что охотой, как другие, сейчас не связан... Поможешь, если что: стрелок ты хороший...

И вот дорога. Снег. На все четыре стороны. Сухие былинки-травинки. Солнце, далекое и холодное, как будто сквозь слезу видится.

Ночевка в Кинкиле. Брат Пантелея, Иван Лонгинов, учитель здешний, не ожидал гостей. Проговорили до утра. Трепыхался огонек жирника. Причудливые тени, как мыши летучие, налетали со стен на свет. Потрескивали дрова. Сквозь дыры и щели печи золотом и пурпуром играл огонь, излучая желанное с холоду тепло.

Утром поднялись, чуть забрезжил рассвет. Таяла, голубела ночная синева. Выцветали звезды на зеленоватом спросонья небе. И вспыхнуло все, едва выкатился из-за сугробов малиновый слепящий диск. Соком раздавленной брусники брызнуло в снег

и ударило по глазам звенящей небесной голубизной — словно ребенок открыл свои лучистые глазенки.

А там, за горизонтом, Кинкиль, Кахтана, Лесная... Бегут нарты между сопок высоких и снежных к перевалу через Карагинский хребет. И уже были почти у цели, когда дохнуло с вершин в их сторону «камчаткой» — ветром — и лишь только успели спрятаться в дорожной юрточке, как разгулялась непогода, обложив со всех сторон. Дорогу впереди перекрыло так, что хоть возвращайся теперь, разворачивай...

Тут их и догнал Григорий Чубаров. Познакомились. В дымной низкой юрте, под свист иззлобленного ветра. Высокий. Крепкий. Белозубый. Ясноглазый. За таким можно и на край света идти.

А пока вернулись в Лесную. Расположились втроем у земляка Пантелея — учителя Володи Сновидова: Чубаров, Андрей Лукьянович Мухин — командир тигильчан и Лонгинов — переводчик, толмач. Остальные — у многочисленных лесновских Ягановых и Нестеровых. Нужно было переждать непогоду и дождаться посланного на восточный берег, в отряд Зенкова, красноармейца Высоцкого. И за две недели, проведенные в Лесной, крепко подружились Пантелей с адъютантом Чубарова — Парамоном Козловым. Дружба эта пройдет через всю их жизнь.

И снова дорога. Распогодилось. Потеплело. Занастило снег. И погнали собак напрямую, через Подкагерную, на Каменское. Рекинникские коряки дали оленей: теперь можно было не беспокоиться о корме — олень в тундре сам себя накормит.

По Рекинникскому долу ехали уже с осторожностью: коряки предупредили о движущемся навстречу белогвардейском отряде.

Чубаров дал приказ готовиться к бою. Нужно было видеть, как посветлели лица красноармейцев, когда они взяли в руки свои трехлинейки, заклацали затворами. Парамон вогнал обойму:

— Вот теперь настроение боевое.

Пантелей положил рядом с собой в аргизу* винчестер. В его задачу входило вовремя предупредить каюров-коряков в отряде белых, чтобы они не пострадали в возможной перестрелке.

И вот два отряда стремительно приближаются. Аргиза, другая, третья... пятнадцатая... двадцать восьмая... И не подозревают белые ничего. И думать не думают, что каким-то образом может оказаться отряд красных, которые только в ноябре вступили в Петропавловск, в этом забытом идолами и богами, выстуженном морозами крае.

— Встать! Руки вверх! — бьет, как выстрел. И точно в цель — поднимаются с аргиз растерянные, испуганные; обомлев, они тянут вверх руки. Но вот гремит первый выстрел — это военком Чернов «поднял» не подчинившегося приказу капитана Грундульса, старшего... И снова выстрелы, выстрелы, выстрелы на пути к Каменскому... И расстрелы... Вот они-то вспоминались и через семьдесят лет тяжело. Особенно запомнился молоденький прапорщик. Совсем юный. Он умолял не убивать...

А там, после того, как к ним присоединился отряд Василия Зенкова, дорога стала «чиста» на много верст окрест.

До Гижиги и Наяхана оставалось несколько дней пути.

Пригревало солнце. Дышалось легко, в полную грудь. На привалах, перед чаевкой, мерялись силами, боролись, бегали, разгоняя кровь. И никто из молодежи не думал о смерти. О бое — каждый. Азартно. Хотя и обжигала порою мысль: «А их там ведь побольше сотни...» И снова молодость брала свое.

Вот только тяжело было смотреть, как ительмен Федотов тосковал о детях. У него их было двое. Жену похоронил недавно. Он думал о них всю дорогу, тоскливо и одиноко. Порой, на привале, даже с нарт (до Гижиги ехали снова на собаках) не слезал. Пытались развеселить — улыбался виновато... Словно предчувствовал, что не понесут его обратно быстроногие гижигинские собаки и рекинникские тонконогие олени, не крикнет он привычно на своих охотничьих лаек, не пригладит жесткие волосенки черноглазых своих ребятишек...

В Гижиге Бочкарева не было. В этот день утром он отправился в Наяхан, где была радиостанция, чтобы связаться с американцами и выяснить время прихода судна, на котором можно будет бежать из «совроссии». А здесь оставалось человек пятнадцать солдат, которые беспечно отмечали пасху. Тогда вместо пасхальных яичек им подбросили в окно казармы несколько «лимонок». Потом еще. Вскоре из разбитого окна показался штык винтовки с белой грязной тряпкой на острие. Так что этот бой выиграли без потерь. Только ночью в красноармейца Высоцкого кто-то выстрелил. Пуля обожгла ногу, но Даниил, падая, успел приколоть стрелявшего штыком.

Этой же ночью в Наяхан отправилась разведгруппа Зенкова, в которую вошли также партизаны Наседкин, Федотов, Черемпей. На рассвете выступила и группа Чубарова. Пантелея с остальными партизанами оставили в Гижиге — в засаде: в любой момент в спину красноармейцам могли ударить и другие отряды белых, которых немало кружило по тундре.

13 апреля 1923 года с трех часов утра и до позднего вечера продолжался в Наяхане последний бой гражданской войны на Дальнем Востоке. Парамон потом рассказывал другу: белые закрепились в двух зданиях. В одном — там находилась радиостанция — солдаты. В соседнем — офицеры во главе с Бочкаревым. За белыми в этой ситуации сохранялась сила — численное превосходство. За красными — натиск. Но бой затягивался и силы таяли. Убиты Зенков, политрук Гаврилов, красноармеец Кузнецов, не стало Федотова, умирал раненый боец Строт, выбыли из строя Сувейзда, Береницын...

Когда же подошли отряды, отправленные вслед чубаровцам с Камчатки и материка, в Наяхане и Гижиге была уже новая власть.

... Когда вернулся в Палану, здесь уже зеленело все. Тальник выбросил узкие листочки. Цвела тундра. Палана-река кипела от серебряного лосося.

А в селе тишина. Все на рыбалке. Летний день — весь год кормит. Так уж веками заведено и не изменишь, наверно, даже новой властью.

Ан нет. Уже на следующий год при устье реки появилась фактория Охотско-Камчатского акционерного рыболовного общества (ОКАРО) и все излишки от промысла можно было за деньги сдавать туда, как на завод Эккермана, что стоял на устье прежде. Только цена теперь рыбе другая, так что рыба не только кормить, но и как охота одевать-обувать камчадала стала. И на черный день теперь можно было что-то отложить — на случай недохода рыбы. Так что рыбачили артелями весело.

А осенью, когда закончили с рыбалкой, а время охоты еще не подошло повстречался Пантелей с Николаем Федоровым, коммунистом с фактории.

— Собираем молодежь, чтобы комсомольскую ячейку создать. Как ты? Пойдешь?

— А что делать-то там нужно будет?

— Вот приходи вечером и поговорим.

А вечером Федоров рассказал о Российском Коммунистическом Союзе Молодежи. О Петропавловской городской организации. О губбюро РКСМ. В нем, оказывается, был и однокашник Пантелея по училищу — Сергей Селиванов.

— Пиши Логиновых в комсомол... Пантелея Васильевича, Сусанну Васильевну... Африкана Петровича, Владимира Петровича... Марию Алексеевну... Филарета Иннокентьевича...

— Мохнаткиных пиши.. Тойля, Савву, Семена, Улиту...

— Шмагина Михаила.

— Захара Бречалова!

— Сновидовых пиши...

...Федоров оторвал глаза от списка, поднялся из-за стола:

— Ну что ж, теперь вы комсомольцы, а это значит — во всем должны быть первыми. Но для этого учиться надо. Обязательно. А кто уже более-менее грамотен, тот других учить должен. Закон теперь у нас знаете какой? Один — за всех, все — за одного! Ясно?!

И еще. Село наше волостное, центральное. А вокруг, куда руку ни кинь, неграмотность сплошная. И среди ительменов, и среди коряков. И потому нужно направить туда своих ребят, самых лучших, чтобы представляли они в тех селах власть советскую, открывали людям глаза, помогали жизнь строить там новую...

...Секретаря комсомольской организации Владимира Сновидова решено было направить учителем в Кахтану.

Через год, уже в 1925-м, направляют комсомольцы Паланы учителем в Кинкиль Пантелея Лонгинова.

И он заново повторяет тот боевой маршрут: Кинкиль, Кахтана, Лесная — маршрут Советской власти. Только оружие в его руках было сейчас самое мирное — знания.

...Но недолго это продолжалось. Пришли другие времена — и был осужден, сослан в Иркутскую область и только через сорок лет вернулся на родину. А в 1972-м пришла печальная весть о смерти друга — Парамона Козлова, который самолично расстрелял убийцу Сергея Лазо — Бочкарева... И больше не осталось в живых уже никого из былых товарищей по оружию, вот только, может быть, жив еще Филипп Сыроежкин — он где-то в Средней Азии, но потерялся след... А письма по-прежнему приходят из самых разных мест — теперь уже от сыновей боевых товарищей. Пишут Валентин Григорьевич Чубаров, Иван Петрович Черемпей.

И уже с ними Пантелей Васильевич заново проходит тем легендарным маршрутом гражданской войны. Маршрутом бессмертия...

БРАТЬЯ СЫЧЕВЫ

Сычевы. Это была большая семья.

Шестеро братьев не вернулись с войны, последний из них, Игорь, погиб в Берлине 9 мая 1945 года. Уверен, что о каждом из тринадцати родных и сводных братьев и сестер Сычевых можно написать целые книги.

Этот же рассказ о старших — Евгении и Георгии. О тех, кто начинал строить на полуострове свою новую жизнь.

Китобои

Никогда Камчатка не была хозяйкой собственных богатств — на суше, на море.

Пушнина расходилась за бесценок по рукам своих и чужих купцов Косыгиных, Брагиных, Свенсонов, Гибардов, Филиппеусов, Уолшей, Му Ин Данов...

Тресковая печень одной только Явинской рыболовной банки на западном побережье Камчатки за путину троекратно покрывала все расходы на промысел американских тресколовов Фришенов и Фалкенбергов.

Одна только лишь команда брига «Пай» во главе с капитаном Протом уничтожила за один набег 1500 моржей на Семеновской косе острова Карагинского. Американцы вырубили моржовые клыки и бросили туши на берегу. Звери ушли из этих мест и не появились до сего дня.

В результате постоянных набегов японских и американских браконьеров не стало на Командорских островах многих котиковых лежбищ. Почти полностью были истреблены морские выдры — каланы. Выбиты практически все киты в богатейшем промысловом районе — у Шантарских островов.

От камчатского лосося «жирели» Дембри, Биричи, Эккерманы, Менарды и целая свора японских рыбопромышленников под вывесками «Хокце Гио Гио Кабусики Кайша», «Хокай Сейкай Соокой Кабусики Кайша»...

В апреле 1917 года Нестор, епископ Камчатский, писал: « ...я очевидец голода и нужд населения, за свое десятилетнее служение в Камчатской области подтвержаю, что население неотложно нуждается в помощи». Вот такие последствия были у этого открытого грабежа камчатских природных богатств.

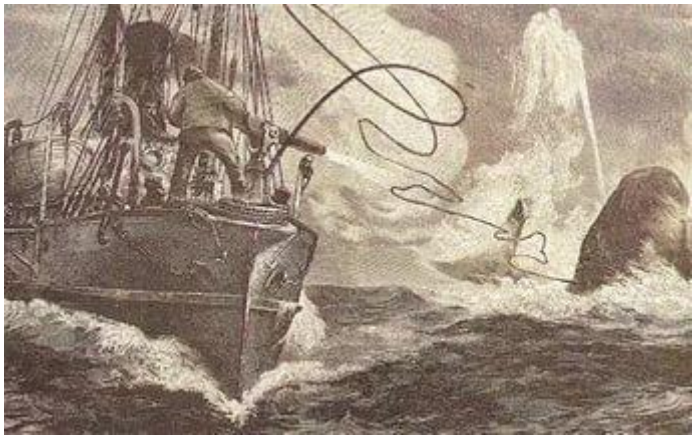
Но даже после установления на полуострове Советской власти в 1922 году остановить браконьеров было чрезвычайно сложно: на два тысячеверстных побережья было практически одно сторожевое судно «Красный вымпел».

Чтобы как-то противостоять хотя бы хищническому истреблению в наших водах китов, Советское правительство подписало в 1923 году концессионный договор сроком на 15 лет с представителями норвежского акционерного общества «Вега» о монопольном праве общества на промысел китов в камчатских и чукотских водах. «Вега» же, со своей стороны, обязалась выплачивать СССР пять процентов с каждого заработанного ею рубля. Но главное — она должна была подготовить советских мастеров-китобоев: гарпунеров, раздельщиков-крючников и жиротопов.

В первых числах июня 1925 года капитан китобойной базы «Командорен-I» Отто Пауст принял на борт шестерых камчатских парней, среди которых был и Евгений Сычев. Пятерых определили на разделку и жиротопку, а одного, Ивана Акимова (Игрушечкина), сделали подручным гарпунера. Расстановку производили уже в море: капитан спешил на промысел. И работа обрушилась на всех, как шторм, мгновенно и во всю силу уже в бухте Моржовой у Петропавловска. Четыре китобойца безостановочно подводили к базе все новые и новые туши. Разделывали их прямо на плаву — слипа на «Командорене» не было. Китов же доставляли много, поэтому снимали только верхний жир, а все остальное бросали, нередко даже китовый ус... Капитан торопился. И были у него на это основания и особые причины.

Русские работали наравне со всеми — норвежцами, шведами, канадцами, филиппинцами, китайцами, американцами, немцами, всех было около тысячи пятисот человек, говорящих на такой ужасной смеси наречий, что даже камчадалы понимали их. Когда же дело касалось принципиальных вопросов, переходили на английский. За переводчиков были Дмитриев и Акимов.

С первых же дней шестерку русских возмутила промысловая политика капитана. Она была явно направлена против интересов советской страны. Заявили об этом. Пауст грубо оборвал и отчитал молодых полпредов: «Договор подписан, и не вам его уточнять. Ваше государство заинтересовано в нашей прибыли — именно с нее и вы получаете определенный процент. Прибыль же слагается: во-первых, из штук китов, во-вторых, из килограммов жира. Мы можем взять на борт сорок тысяч бочек жира, вот и нужно спешить взять то, что нам положено. А расчет с вами идет от бочек, а не от китов. Вот бочки и считайте — их много! — и радуйтесь. И не суйтесь ко мне больше со своими дурацкими вопросами. Здесь хозяева, слава Богу, не вы, а мы. А мы не коммунисты, мы деловые люди».



И снова чуть не сутками, без отдыха разделывали они туши, срезая жир и бросая все остальное. А жиротопные камеры равнодушно поглощали все новые и новые порции. Разогнуться было некогда, не то что вникнуть в премудрости технологии разделки китов или перетопки жира. Пауста, по-видимому, это очень даже устраивало. Но не русских.



— Мы вынуждены протестовать. Во-первых, вы нарушаете в наших водах закон о нормированном рабочем дне. Во-вторых, вы желаете получить от нас, как от рабочих, сполна, но при этом не желаете расплачиваться с нами так, как положено. Поэтому мы требуем сокращения рабочего дня и обучения нас всему, что предусмотрено договором. В противном случае мы отказываемся работать на таких условиях и вынуждены будем обратиться к своему правительству.

Пауст побелел от злости.

— На «Командорене» нет университетов. Единственный университет — ваша собственная работа. Для ее освоения я предоставляю вам все двадцать четыре часа в сутки. Это раз. На моем судне не было и никогда не будет профсоюзов, как и Советской власти с ее законами, — это два. И потому я не принимаю ни одного из ваших требований, можете не работать. Но расчет с вами я буду производить по тем законам, что положены на норвежском судне, где капитан Отто Пауст.

Но через несколько дней к группе обработчиков и жиротопов были прикреплены опытные мастера.

Флотилия вслед за китами вышла из бухты Моржовой и пошла на север в бухту Глубокую. Здесь, с базы наблюдали моряки, как целым стойбищем, на вельботах и байдарах, окружив кита, метали чукчи в него гарпун с воздушным мешком на конце длинного линя и долго преследовали животное, пока выдохшийся гигант не выбрасывался сам на берег или не погибал от пуль охотников-промысловиков. И тогда на берегу начинался праздник китобоев.

А на «Командорене» все повторялось заново. Сновали, как челноки, китобойцы. Покачивались туши у бортов базы. Кипела работа. И горы китового мяса ненасытно поглощал океан, как жиротопки — свои порции-куски...



Сжимались от бессилия кулаки русских парней. Самодовольно, надменно поглядывал на них с капитанского мостика Отто Пауст. Равнодушны были мастера. Усталые рабочие безропотно покорны. Кое-кто уже подсчитывал в уме прибыль. Добыто 286 китов. Финвалов. Горбачей. Калифорнийских серых. Кашалотов. Синих. И это все за пять месяцев. Тут озолотишься. Получено полтора миллиона килограммов жира. Это не меньше 400 тысяч рублей золотом. Стоит ли жалеть о каких-то китах?! Странные эти русские...

В октябре затяжелевшая матка с четырьмя китобойцами вошла в Авачинскую бухту. Вот и снова дома. Тепло распрощались с теми, кто был рядом все эти дни. Сухо — с капитаном: только несколько общих слов.

Через несколько дней после возвращения они отчитывались на губбюро РКСМ. Николай Дмитриев подготовил доклад об орудиях и средствах охоты на китов, Булатов — об обработке китов и приготовлении жира. Остальные дополняли. Доклады понравились даже тем, кто мало что понял. Было в них главное — уверенность в своих знаниях. Это-то и радовало всех — ведь решался вопрос о создании своей дальневосточной китобойной флотилии.

А потом посыпались вопросы. И посуровели лица, погасли улыбки, злые желваки забегали на скулах... Плыли и плыли перед глазами огромные окровавленные туши и медленно погружались в океан, разлагались, выброшенные на берег: обжирались и чумели от них лисицы и песцы...

Нет, это не должно повториться — необходим жесточайший контроль за деятельностью этой самой «Веги». Или разорвать, к чертям, договор. Уберегли сь, называется, от хищников. Как же! Это от Норвегии далеко: там не аукнется, не отзовется бедой. А здесь... — не в свой же колодец плюешь...

В июне 1926 года «Командорен» снова вошел в Авачинскую бухту. Теперь он взял на борт десять русских. Второй раз пошли в море обработчик Николай Дмитриев и гарпунер Иван Акимов, остальные были новенькие. Перед выходом в море капитан Отто Пауст и председатель Камчатского окружного бюро профсоюзов Соколов подписали договор. Теперь рабочий день у русских не мог быть больше 10 часов. Зарплата выплачивалась в иностранной валюте. За переработку — двадцать процентов доплаты.

И снова совершен круг в океане вслед за китами. Основным промысловым районом были избраны Командорские острова. Из 284 добытых китов 110 были загарпунены здесь. И здесь же, в бухте Лисинской, их разделали и бросили. Рядом с котиковыми лежбищами. Здесь же, на месте преступления, застало их охранное судно «Брюханов» под командованием капитана А.И. Дудника.

В ноябре этого же года Совет Народных Комиссаров принял решение о расторжении договора с акционерным обществом «Вега». Нарушения договорных условий были очевидны. И смысл этих нарушений, направленных против интересов страны Советов, также.

Необходимо было создавать свой китобойных флот, свою — советскую — китобойную промышленность. Речь об этом шла уже давно.

Но не сразу все это решилось. Прошло несколько лет, пока в июне 1933 года китобойный промысел в Беринговом море открыла первая советская китобойная флотилия «Алеут». В числе ее специалистов были и товарищи Евгения Сычева — Николай Дмитриев и Иван Акимов.



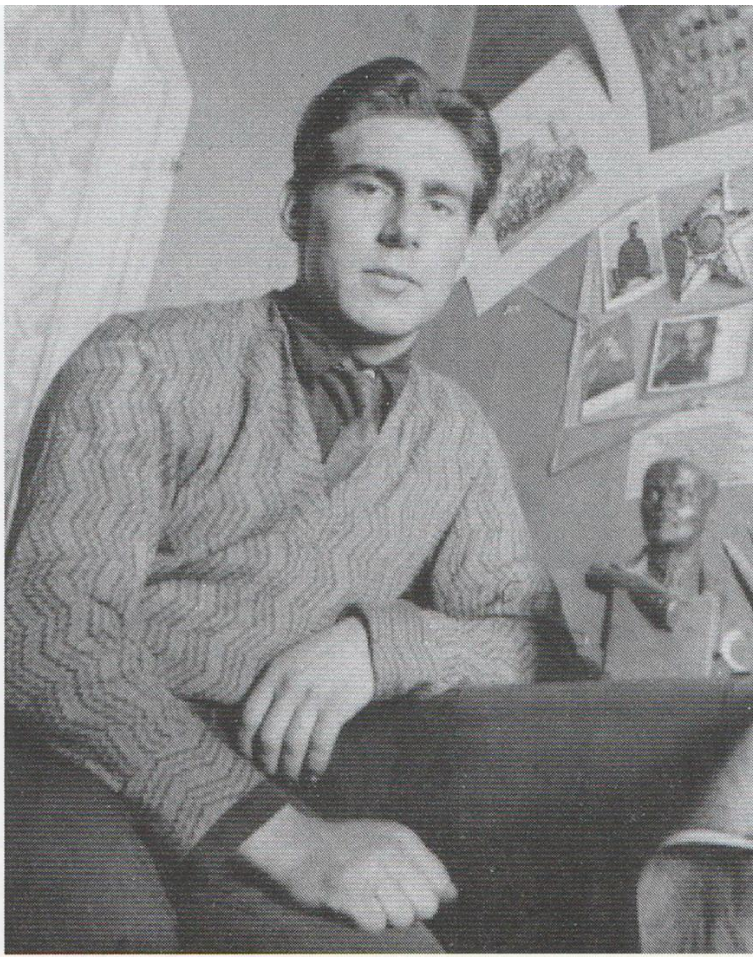
На Уэлен и Диксон

Имя радиста Георгия Сычева хорошо известно на Севере. Это он принимал радиограммы с легендарного «Челюскина» и через него вся страна следила за подвигом челюскинцев в Арктике.

Здесь, в Уэлене, с учителем Петром Скориком и секретарем Чукотского райревкома Михаилом Аристовым организуют они первую чукотскую ячейку РКСМ.

Отсюда начинается его дорога по Севморпути, которая улицей имени Георгия Сычева ляжет на Диксоне, навечно останется в памяти полярников Тикси.

Кроме того, он будет еще и камчатцем. Вот об этом он и расскажет нам сам*.



Георгий Петрович Сычев, 1931 г.

* * *

«Специальность моя — радио. Ей я отдал полвека. Из них 27 лет Арктике, 15 лет Петропавловску-Камчатскому, четыре года на Великой Отечественной войне, остальные — в Москве. Отец и мать в поисках хлеба насущного попали из Петербурга на Камчатку, а отсюда — на Командорские острова, на остров Беринга, в село Никольское, где я и родился 27 апреля 1903 года. Отец тогда работал в торговой компании, снабжавшей Камчатку, Чукотку и Командорские острова всем необходимым... потом жили в Тигиле... Петропавловске...

Среда, 24-е августа 1927 года. Как член горсовета я был на расширенном заседании президиума. Впервые за много лет существования города избранники народа обсуждали вопрос о постройке городской электростанции. Установку двигателей предложено сделать в нынешнем году. Все необходимое выписывается из Америки. Столбы по всем улицам (Ленинской, Таможенной, Нагорной) уже установлены. Предположительно киловатт-час электроэнергии будет обходиться гражданам 50 коп., правительственным учреждениям — 1 руб.

Суббота, 17-е сентября. Вечером собрались в гости к одним знакомым. Чудные это были сборы: у меня нет ботинок, рубаха и брюки рваные. У Коли Медведицына (он живет

у нас несколько лет и считается нами как родной) тоже брюки рваные, нет приличной рубашки. Кое-как собираем и то, и другое. Лучше всех нас выглядит брат Женя — у него «тройка», но зато отстали подметки у ботинок. Смеху было много! Больше всех хохотал Коля. Оденешь одно — дырявое, оденешь другое — не в тон. У третьего короткие рукава!..

Понедельник, 3-е октября. Делал доклад на окрбюро ВЛКСМ о «Радиолюбительстве и его перспективах на Камчатке». Меня назначили организатором этого движения. В 17 часов военные занятия. Утвержден командиром отделения. С занятий возвращались с песнями.

Вторник, 4-е октября. Мама нервничает, плачет. Трудно с деньгами. Бьемся как рыба об лед. Живем без отца. Семья 9 человек. Работаем вдвоем с братом. Ребята учатся. Всех надо одеть, обуть и накормить. Дома — форменный потоп. Кругом льет, крыша протекает точно решето. Воздух дома влажный, спертый, тяжелый. Тут же в комнате и кухня — обстановка кошмарная. Живем в частном доме. Хозяин ремонта не делает..

Суббота, 8-е октября. Утром учусь в ремесленном, с обеда работаю на рации. В 18 часов заседание страхкассы. Я председатель. Вечером в народном доме живой журнал «Красный Север». Ставим веселую пьеску.

Вторник. 11 октября. В 16 часов состоялось первое орг. собрание радиокружка юных пионеров. Председателем избрали брата Алешу... Отряд ю.п. решил просить денег на покупку радиоаппаратуры и запчастей.

Пятница. 14 октября. Днем ходил в окрбюро ВЛКСМ насчет денег для радиокружка ю.п. Составили ориентировочную смету в 212 рублей на приобретение радиодеталей. Но средств нет. Если их не найдут, то все труды по организации радиолюбительского движения могут оказаться напрасными.

Воскресенье. 16-е октября. Писал статью в местную газету «Полярная Звезда», «К организации радиолюбительских кружков». Составил план работ радиолюбительского кружка.

Вторник. 18-е октября. Ходил в окрбюро ВЛКСМ насчет выписки радиодеталей. Сказали: денег нет ни копейки, даже на пионерский кружок. Занимался с ребятишками. Утверждали план работы радиокружка. Познакомил пионеров со структурой ОДР (общества друзей радио) и правилами радиолюбительства.

Вторник. 25-е октября. Вызывали в окрбюро ВЛКСМ. Секретарь Сережа Вдовин предлагает вступить в партию.

Среда. 26 октября. Получка, но она не радует: много долгов у китайцев, у которых мы берем продукты. У меня рвутся последние рубашки и износились ботинки...

Днем ходил на собрание музыкального кружка. Избрали председателем его.

Пятница. 28-е октября. Работаю в ремесленном. Пилю дранку по 3 коп. за штуку. Поддежуриваю на рации.

Среда, 2-е ноября. Получил сверхурочные — 59 руб. Отложил на радиодетали 35 рублей, остальные отдал маме. Понимаю, что ей трудно, но кружок не может существовать без деталей: ребят становится все меньше и меньше.

В 13 часов заседание редколлегии стенгазеты «Связник». Я член коллегии.

Понедельник. 7-е ноября. Дежурю на рации.

Суббота. 12-е ноября. С утра хлопочу насчет радиодеталей. Пока безрезультатно. Занимаюсь радио, строим детекторный приемник. Хотим попытаться поймать на него Хабаровскую вещательную станцию. С нетерпением ждем вечера. Мне помогает брат Леша — пионер. Наконец, время настает. Включаем приемник — ни звука. Полное разочарование. Вещалки не слышно. Значит, на детекторном приемнике здесь Хабаровск нечего и слушать.

Среда. 16-е ноября. Сегодня на радиокружке отряда ю.п. демонстрировал ребятам коротковолновый детекторный приемник. Ребята очень заинтересовались. В кружок записалось сразу 16 человек, теперь их 41. Большим тормозом в работе является отсутствие ридиодеталей и помещения. Нас гоняют из одной школы в другую, не дают света. Это, конечно, расхолаживает ребят.

Днем из Владивостока в Петропавловск вышел пароход «Астрахань». Там радистом мой друг Макс Смольский. Заказал ему радиодетали. Может быть, что-нибудь удастся достать.

Вторник. 22-е ноября. Дежурю. Смольский сообщил, что заказ на радиодетали выполнил. Обойдутся рублей в 40.

Пятница. 25 ноября. Из 143 рублей домой принес только 90. И еще остался должен. Пожалуй, снова останусь без тужурки и сапог.

После обеда поддежуриваю на рации.

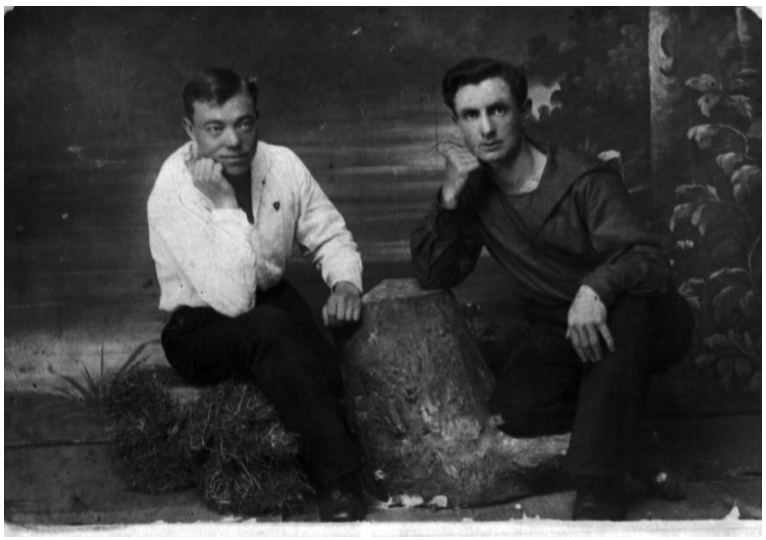
Понедельник. 28-е ноября. Днем пришел пароход «Астрахань». Смольский привез мне радиодетали. Ну, все — радиокружок наш не рассыпется. Очень рад деталям.

Вторник. 29 ноября. Дома сыро. Кругом течет.Настроение у всех плохое. Денег нет. От получки не осталось ни копейки — даже все долги не удалось покрыть. Ношу дядины сапоги, а он сидит из-за этого дома.

Суббота. 10-е декабря. В 17 часов занятия радиокружка ю.п.. Ребят пришло очень много. Все интересуются радио. Начали монтировать коротковолновый ламповый приемник по схеме Андреева. После занятий общегородское собрание ВЛКСМ. Доклад об оппозиции.

Среда. 28-е декабря. Со вчерашней получки наконец выкроил на тужурку. На ботинки денег не хватило. Но сестренке ботинки взяли. Свои сбережения от сверхурочных и работы в ремесленном отдал брату Жене на тужурку, которой у него тоже не было. Сам хочу занять денег у товарища по работе Миши Левина на сапоги и брюки. Предполагается в скором времени получка сверхурочных. Из них ему выплачу долг.

Понедельник. 2-е января 1928 года. Брат Женя переведен на рации в мотористы. До сегодня он работал здесь уборщиком и одновременно учился на моториста. Дежурит он в одной смене с Колей Медведицыным. Еле успеваем принимать все по рации. Особенно много поступает информации РОСТА. В день от 5000 до 7000 слов и более. Прием от Хабаровска доходит до 8500 слов в день. Владивосток дает без перерыва подряд 4 часа. Вся эта масса информации обрабатывается на слух. Слышимость очень плохая. Мы почти все время пропадаем на рации. Переутомление страшное. Очень болит голова и раковины ушей. После 6-ти часов дежурства домой идешь, как пьяный. В ушах звон, в голове шум. Срывается учеба в ремесленном — так могу и не стать краснодеревщиком вдобавку к имеющимся специальностям радиста и учителя (после окончания Высшего начального училища). Радиокружок уже два раза не занимался. Нет ни минуты свободной.



Н. Медведицын и Г. Сычев (архив ККОМ)

Суббота. 21-е января. Как сейчас помню этот день — первую телеграмму в Петропавловске о смерти В. И. Ленина в 1924 году в 2 часа ночи по местному времени пришлось принимать мне, тогда еще молодому радисту-комсомольцу. От волнения рука отказывалась писать. Никто еще, кроме меня, не знал этой трагической вести. За здоровьем Ильича следила вся Россия, в том числе и Камчатка, очень внимательно. Интересовались каждым сообщением... Поэтому можно понять, какое тягостное впечатление произвело сообщение о смерти В. И. Ленина.

Сегодня, впервые за все время существования Петропавловска, в городе зажглась «лампочка Ильича». Пустили новую электростанцию на постоянном токе.

Вторник. 24-е января. В окружкоме комсомола не считаются, что работаю и учусь. И вообще на комсомольцев-учащихся нагружают столько, что они не могут нести нагрузки без ущерба для учебы. Поэтому учатся все гораздо хуже, нежели беспартийные. Последние же смеются над нами за неуспеваемость, козыряют своими успехами. И что плохо — ведут агитацию против вступления молодежи в комсомол. Приходится ухо держать востро и давать отпор таким наскокам.

Понедельник. 5-е марта. Сегодня секретарь ячейки ВКП(б) спрашивал насчет вступления в партию. Над этим вопросом давно думаю. Как-то совестно. Ведь у меня нет никаких революционных заслуг.

Среда. 21-е марта. Сегодня брата Женю принимали в партию. Он — красный партизан, воевал с белобандитами на западном берегу Камчатки в районе с.Тигиль и др. местах.

Суббота. 26-е мая. Вчера на бюро комсомольской ячейки рассматривалось мое заявление с просьбой дать рекомендацию для вступления в партию. Решили дать!

Суббота. 23-е июня. Днем получил свидетельство об окончании ремесленного.

Понедельник. 25-е июня. Начальник областной конторы связи т.Ерахтин предложил ехать начальником рации в село Тиличики Олюторского района. Пока отказался. Есть вторая вакансия в село Уэллен Чукотского района. Остановился на нем. Домашние не возражают.

Понедельник. 17-е сентября. (Борт парохода «Астрахань»). Получил радиограмму от брата Жени и Коли Медведицына о том, что меня приняли кандидатом в члены ВКП(б)...

* * *

Воскресенье, 14 октября «Астрахань» потеряла лопасть винта около мыса Дежнева.

Понедельник, 15 октября — авральная выгрузка. На моторном вельботе пошли в бухту Лаврентия.

Вторник, 16 октября. В состав нашей экспедиции входят пять эскимосов и семь русских (из них одна девушка учительница), предс. РИКа Пономарев Павел, от Союззолота — Терегулов, завшколой б.Лаврентия (Культбазы) Семушкин Тихон Захарович, учитель этой школы Николаев Женя, Суховилова Аня и я.

...Мешает крепкий молодой лед. Его приходится разбивать веслами, топорами. В 13 час. дошли до первого чукотского жилья — Янракеното. Здесь вышли на берег. В 14 час. 10 мин. по чистой воде пошли далее. Через два часа увидели другое маленькое поселение. Далее путь преградили тяжелые полярные льды.

...В кукуль (спальный мешок) я залез вместе с Семушкиным Т. З., так как ему негде было спать. Он ничего не захватил. А я, наученный горьким опытом, взял из Петропавловска свой медвежий.



Г. Сычев на Чукотке

Среда, 17-е октября. На шлюпке остались Семушкин и Суховилова Аня. А мы все пошли пешком, таща шлюпку на буксире как бурлаки против встречного ветра и дождя со снегом. Идти пришлось по гальке, которая разъезжалась под ногами, чем страшно затрудняла движение, изматывала силы. Один Семушкин Т.З. оказался нечестным человеком по отношению к товарищам, оказавшимся в беде! Он не слез с вельбота и ничем не помог нам. Ссылался на то, что у него теплые чукотские брюки спадают и идти он не может. Ничего не скажешь — убедительный аргумент! Каждый из нас предлагал ему второй свой ремень. Не тут-то было. Семушкин расположился на шлюпке как «барон» и мы должны были, как батраки, везти его, т.е. лишних 70 кило. До этого он хвалился, что сможет пройти пешком 200 клм! Он даже не постеснялся пожилых Пономарева, двух чукчей! Аня Суховилова тоже сидела на шлюпке. Но к ней претензий никаких не было. По молодости и неопытности ехала в туфельках. Никакой другой обуви у ней не было. Все мы честно «бурлачили», подменяя друг друга. Сначала подмены были редки, потом стали все чаще и чаще. Выдыхались. Спина мокрая. Рубашку хоть выжимай, а жилья не видно! Особенно устали чукчи и эскимосы, которые раньше нас впряглись в бурлацкие лямки. Как мы не стыдили Семушкина, как ни уговаривали — ничего не помогло. Он развалился в шлюпке и даже пробовал над нами насмехаться. Большую часть времени спал. Что нас особенно возмущало. С толстой красной рожей, в длинном ватном пальто, в шапке-ушанке он очень походил на китайского мандарина, путешествующего с молодой женой по Ян-Цзы! На одном из привалов все, даже чукчи и эскимосы, навалились на него. Стали стыдить, но он нагло заявил, что тащить шлюпку все равно не будет, не может! Так познаются друзья в несчастьи!! Опять впряглись в лямки, но силы быстро исчезали. Начали спотыкаться на каждом шагу, падать. Короткий день кончился, темнота усугубляла наши мытарства: спотыкались о камни, оступались в ямках. От места высадки с эскимосского вельбота вышли в 15 час. и только в 19 час. 35 мин. добрели, именно добрели, до чукотского селения — Нухчьиген! Измучились ужасно.

(После отдыха) ...На Семушкина противно было смотреть! Трудности отошли. Ребята затянули песни. Я чувствовал себя скверно: лихорадило, озноб чередовался с жаром, рубашку хоть выжми. Не помогла и мадера с чаем. В 21 час легли спать. Как не противен мне был Семушкин, снова пришлось положить его в свой спальный мешок. Чувство товарищества обязывало меня к этому, иначе он не смог бы спать от холода. Первый день трудностей и невзгод показал характер и лицо каждого участника. На счастье, из 11 чел. только один оказался мерзавцем — Семушкин Т. З. — завшколой Культбазы б.Лаврентия. Что хорошего он сможет дать чукчам и школьника??! «Бурлацким» способом прошли более 30 клм., общее мнение: Семушкин хитрый, бессовестный, наглый человек. Попросту скотина.»

Это писал радист Сычев. А вот что читаем мы в повести «Чукотка» известного советского писателя, автора знаменитой книги «Алитет уходит в горы», которой зачитывалось не одно поколение романтиков, очно и заочно влюбленных в Север, Тихона Захаровича Семушкина. Это сравнение — небольшой штрих к прошлой истории, такой понятной и непонятной, в которой слились в одном потоке идеология и человечность, нравственность и безнравственность. Мы знаем, что оба они, и Георгий Петрович Сычев, и Тихон Захарович Семушкин — были людьми известными и почтенными. Только вот пути их к славе были, вероятно, разными. Хотя кто знает. Мы располагаем только лишь одним сравнением. И то только потому, что оно позволяет нам глубже раскрыть своего героя — молодого, искреннего, горячего...

Как же видел те же события писатель Семушкин?

«Мы с грустью расстались с вельботом и теперь одни, без эскимосов, идем вдоль берега по морской гальке. Она шуршит, и ее круглые, обкатанные морскими волнами

камешки все время ощущаются подошвами ног. Мы бредем устало, сгорбившись, ссутулившись. На пути никаких признаков жизни. Кажется и конца-краю не будет этой безжизненности.

...Я всматриваюсь в лица моих спутников, стараюсь проникнуть в их душевное состояние...»

СЕВЕРНАЯ ПЕСНЯ

Бледнело небо. На его фоне постепенно стали выступать острые гребни сопок, обрисовалась изогнутая линия берегов Авачинской бухты, прописались силуэты судов вражеской эскадры. Там шло подозрительное оживление: слышались резкие звуки сигналов, солдаты погружались в десантные шлюпки и боты, дымили трубы парохода, готовились сняться с якорей и парусные суда.

Камчатский губернатор Завойко вместе со священником Георгием Логиновым прибыл на батарею №1 в половине восьмого. Здесь уже все было готово к бою. Понимали — центром англо-французского удара будет именно Сигнальный мыс, и вряд ли удастся досчитаться всех защитников на первой батарее после боя. Но лица были спокойные. Спокоен и суров был Завойко и его спутник.рЦdiv>

Начался молебен о даровании всемогущим Богом победы. Читал Евангелие святой отец. Далеко вокруг слышался его голос. Густой, сильный. И было что-то еще в этом голосе, от чего напрягалось все внутри, как стальная пружина взведенного курка, и рождалось ощущение силы у каждого, кто должен был через считанные минуты вступить, может быть, в последний в своей жизни день. День, который еще не разгорелся, — только-только лучился синим августовским небом. Трепетал тополевым листом. Обжигал крепкой йодистой настойкой океана-моря.

Голос креп, суровый и мужественный. И слова, такие привычные, преображались. Как в песне. Но там — сливаясь с музыкой. Здесь — с душой. И в душу же человеческую вливаясь. И хоть шла речь о Боге — кто мог быть сейчас выше человека..

С моря открыли огонь. Рвались бомбы и ядра, вгрызаясь в землю и швыряя осколки в людей.

Но креп голос Логинова в грохоте разрывов. Гас страх в глазах необстрелянных. Спокойней делались лица. И вскипала кровь.

... Вражеский пароход, взяв на буксир с одного борта фрегат «Президент», с другого — «Форт» и с кормы — «Пик», повел суда на Сигнальный мыс...

И начался бой...



Оборона Петропавловска-Камчатского в 1854 году

* * *

— ...Да, церковь паланская, однако, совсем не та: где колокола? Нету. Где кресты? Нету. Все касамольцы поснимали...

Внутри тоже все переиначили: иконы повынесли, на стенах бумаги понаколотили, а на ней чего только не понаписано и не понарисовано, а все это называется — стенгазеты... И амвон перестроили — сценой теперь зовут. И певчий хор сейчас в божием доме том касамольский.

Да, как добили в Наяхане последних беляков, так в Палане каждый год что-то новенькое.

Вот собрал в октябре двадцать четвертого всех паланских озорников коммунист с окаровской фактории Николай Федорович Федоров и начал с мальчишками забавляться, игру какую-то новую для них придумал — касамол называется. И учителя туда же. Вообще-то это их дело — с детьми возиться, учить уму-разуму. Но и здоровые парни поперли к ним — во, напасть! Учителя Володьку Сновидова атаманом выбрали.И посмешались переростки с голозадыми сопляками, все в одной куче: Пантюшки Юшин да Лонгинов — тех женить давно пора, Пашки Шмагин и Маленберг, Бречалов один, Мохнаткины и Филарет Лонгинов туда же — сын псаломщика Иннокентия и внук священника Василия Алексеевича, или, обожди, Василий Алексеевич тоже псаломщиком был, а священником у них был в Гавани кто-то, да вот еще дед двоюродный Филаретки — Николай Алексеевич, который за что-то обиделся на Василия с Иннокентием и когда захотели пацаненка этого, только народившегося, в честь деда Василием назвать, воспротивился: вы не дворяне — коего святого день, в того честь и нареку. И нарек, выбрал же имечко! — Филаретом. Не выговоришь. А мальчонка ничего — шустрый, смышленный... Да там все у них такие. Но поиграли, поиграли в касамол и присмирели. Посурьезнели. Народ грамоте обучать стали. Собрания проводят. Спектакли показывают. В ноябре, на празник, «Красные побеги» были. Вот Филарет в ней геройствовал. Народу было — думали стены в церкви повалятся. Некоторые даже осерчали на касамольцев, что быстро у них все кончилось — так и не успели протолкаться и посмотреть.

Но они потом еще показали. А потом еще. Частушки, вон, как выдадут, да так кой-кого продерут, что вся Палана три дня хохочет, а то песни поют с амвона под балалайку и гармошку, или рассказы складные сказывают. По вечерам ликбез. Кто постарше, из грамотных, те по селам разъехались окрест детвору местную учить и касамол там свой создавать. А за старшего в Палане — Филарет. Смех один — за стол сядет, а ноги до пола не достают... А тоже — начальник....

А поют хорошо. За душу берет. Подтянуть хочется. Вот слов только не знаю. Новые они песни поют. Нужно у учителя, Ивана Лонгинова, вызнать: в хоре он у касамольцев за главного. Тож по-новому учит их петь — по закорючкам каким-то на бумаге, нотам, говорит...

Хорошо поют, чертяки такие... Вся душа им навстречу раскрывается!

* * *

Прекрасен ты, Север моей Родины. Во все времена года, в любую погоду. Спокоен, суров ты в своей красоте. А потому еще более величав.

Казалось и недавно расстались, а уж сколько времени пролетело. Взрослым уж стал — на календаре уже тридцатый — за плечами двадцатый. Образование получил: закончил педтехникум. Мир увидел — учился в Хабаровске. Понял многое и самое главное — лучше родины нет ничего на свете. Дома любой приказ по сердцу — едешь хоть в Каменское, хоть домой, в Палану, куда пошлют. И сердце горит тогда отчаянней, любит крепче, что и себе уже признаться не боишься в своей любви. И всегда рядом она, эта молоденькая светловолосая учительница Машенька, Маруша, как называют ее гижигинские или микинские коряки. Всегда она с тобой — в бесконечных дорожных разъездах по стойбищам огромного Пенжинского района по различным финотдельским или райисполкомовским делам, на отдыхе ли где, в беде ли...

...Катерок пыжился, тянул за собой на длинном буксире по волнующемуся Пенжинскому заливу кунгас с пассажирами. Шли на Гижигу. И с каждым часом все злее и злее становились волны. Кунгас бросало то вверх, то вниз, ударяло и дергало так, что люди, укачавшись, лежали пластом и уже не обрывалось от страха все там внутри, когда летели в очередной провал, в бездну, или подбрасывало на такую высоту, куда и чайки в хорошую-то погоду добирались с трудом. Филарет находил в себе еще силы шутить, — а что ему еще оставалось: ведь плавать камчадалы никогда не умели...

Вдруг кунгас дернуло так, что его даже крутануло на волне.

— Буксир, — понял Филарет. — Оборвало канат. Иначе бы не крутило...

Филарет выглянул было из трюма. И тут же захлопнул люк. Следом обрушилась волна — глухой удар потряс кунгас. Второй. Третий. Кунгас скрипел, трещал, содрогаясь от ударов, но держался. А волны играли им, как камчатские дельфины пойманной рыбой, подбрасывая ее носом над волной, ловя на лету и унося в глубину, а затем снова выбрасывая наверх. Один день. второй. Третий.

В носовом кубрике накрыло людей волной. Погибло несколько человек. В том числе совсем молодая женщина с ребенком. Здесь, в трюме, пока держались. Только один не выдержал — сошел с ума и...

Лишь к утру четвертого дня подбило кунгас к берегу. Шторм стих. Мощный отлив обнажил серую прибойку в какой-то сотне метров от кунгаса. Совсем рядом... И Филарет

решился: в конце концов, не все едино, где погибнешь. Здесь же хоть надежда какая, да и просто счастливый случай. Должно же после всего этого повезти человеку или нет?! Только не нужно спешить. Прежде все продумай. Эти сто метров по воздуху не пролетишь. Помощи ждать неоткуда: двое других пассажиров плыть боялись. Пусть боятся. Случай такой, что не до агитации.Увидят, что доберусь — сами в воду полезут.

Итак, прежде всего кукуль. Он заместо кухтыля будет — воздушного пузыря. Положим туда еще сухой одежды, еды... Спички бы не забыть, но их лучше всего под малахай, в волосы, спрятать. Так, теперь поплотнее кукуль перетянем, чтоб ни вода не попала, ни воздух не вышел... Ну, а теперь — вперед!

Только на берегу, когда волна лениво толкнула его в песок, понял Филарет, что шансов у него,действительно, было ничтожно мало... Быстро переоделся в сухое, залез в кукуль — ни капли воды туда не попало — согрелся и задремал.

Разбудил крик:

— Филаре-е-е-т!

Значит, кто-то из его спутников все-таки тоже рискнул. Точно: подплывает к берегу на деревянном щите — крышке люка. Додумался же!

К вечеру перебрался на берег и другой. Отогрелись у костра. Перекусили. Обсудили положение. Куда идти? Неизвестно. Но идти надо. Как и надо верить, что ничего с тобой больше не случится...

И снова дни, до краев заполненные неизвестностью. Много дней. По первому снегу. Уже без еды. И только у Рекинник — вот куда загнал их шторм — встретившись с пастухом-коряком, понял Филарет, как трудно это — быть настоящим человеком на севере: не только выдержать самому все испытания, что выпали лично на твою долю, но помочь еще тем, кто рядом и более слаб, чем ты.

... И тогда же понял, почему это северные люди называют себя настоящими людьми. И еще, тоже очень важное: как трудно было бы ему это выдержать без Маруси.

Возвращались из Рекинник на оленях. Каюрил старый коряк. И всю дорогу пел он длинную песню без слов.

— И так всю жизнь поешь, сам не зная что? — усмехнулся Филарет.

— Почему не знаю. Наверно, знаю. Думаешь, потерял я слова, разбежались они от меня, как олени в пургу? Однако, нет. Потому что сам я — слова своей песни. А вот песня у меня одна. Как жизнь.

Дед пел ее, отец пел ее, теперь я пою. Умирать буду — сыну отдам. А слова... они со мной всегда. Как олени со мной, как дети мои...

Слушай, тумгытум*, мою песню....

И он запел, как бежит ровная дорога тундры, испещренная следами косого милюта, как сейчас в берлоге спит старый кайнын, о том, как едет с ним, пастухом, русский начальник, молодой, безусый, красивый. И — не утаишь этого в тундре — ждет его в Мыкынны (Микино) светловолосая учительница Маруша. И хоть бегут сейчас олени в Вайкэну (Каменское) — обязательно сойдутся дороги молодых. Так говорят об этом в тундре.



«Маруша» -- жена Мария Федоровна

* * *

В тридцатых годах на севере началась коллективизация среди оленеводов — организовывались первичные товарищества по совместному выпасу оленей. В 1934 году Филарет Иннокентьевич Лонгинов был переведен из Каменского в Тиличики, соседний Олюторский район, и, как уполномоченный райкома комсомола, принял самое активное участие в предстоящей кампании.



Филарет Иннокентьевич Лонгинов(слева)

Трудно было. Чего, вроде бы, яснее: совместная работа лучше, чем в одиночку. Но коряки, практически, в одиночку и не пасли никогда оленей. Свой десяток-другой оленей загоняли в большое хозяйское стадо и получалось, вроде, как общее стадо богача и батрака. Так что этот вопрос, по которому ехал в тундру Лонгинов, о товариществе был для коряков не так уж и прост, как казалось на поверхностный взгляд. И они цепко держались за старое, которое было проверено веками и потому казалось не только надежным, но и единственно правильным.

Вот, как сейчас. В яранге дымно. Чадит жирник. Угарно от костра. Многолюдно. Душно. Старый коряк допил чай и только после этого ответил Филарету:

— В этом табуне очень много оленей. Но моих — двадцать. Его, — он ткнул пальцем в пожилого коряка с красными трахомными глазами, — восемь. А вон у того — одиннадцать. Откочуем мы втроем от хозяина — что есть будем? В большом стаде одного-двух оленей и не видно. А в малом — и луна не успеет родиться, как я уже без оленей останусь. Потом — другие... Зачем нам ваше товарищество? Чтобы без оленей остаться? Нет, тумгытум, ты напрасно пришел к нам с этим...

— Отец, но ведь хозяин твой не сможет без вас пасти свое большое стадо. И ему выгоднее будет продать часть оленей товариществу. А я, как заведующий райфинотделом, обещаю, что дам вам взаймы деньги, помогу значит, а вы долг будете отдавать не сразу, а по частям и когда на ноги уже крепко встанете. И дорого хозяин с вас за оленей не возьмет — деваться ему некуда, да и твердые государственные цены существуют... Так что, если подумать, вы можете иметь свое, и не маленькое, стадо.

В яранге зашумели, обсуждая слова Лонгинова.

А Филарет продолжал:

— Многие ваши олени погибают от копытки и других болезней. И вы ничего не можете с этим поделать. А болезнь ведь не смотрит, чьи это олени — бедняцкие или хозяйские. Но сегодня в тундру приехали люди, которые умеют лечить оленьи болезни — оленьи шаманы. А вы, разве, не слышали о них — называются доктора или ветеринары? Так вот — доктора оленей в первую очередь будут обслуживать товарищества, то есть ваших оленей. И болезни перестанут им грозить.

Коряки снова заговорили между собой. Филарет пил обжигающий губы до черноты настоенный чай. Он сказал главное. И теперь не вмешивался в разговор.

...А Филарета снова ждала дорога, закопченные яранги, грязные больные ребятишки, пастухи, по-собачьи преданные хозяину, безучастные ко всему женщины... Ведь это было...

Но просыпалась северная земля. Рождалась новая жизнь. И новые песни дарила она людям. Разные песни. И радостные, и тоскливые. Как наша жизнь. Ведь и она, как и песня, тоже у коряка одна.



* * *

Талант сродни вулкану. Он может долго копить внутри себя силы, огромные силы, чтобы потом враз, щедро выплеснуть их огненными потоками в жизнь, взорвать привычное, осветить новое и проложить к нему огненные дороги...

Талант сродни реке, начинающейся с маленького ручейка и вбирающей на пути своем воды все новых и новых речушек, чтобы стать полноводной, неиссякаемой, могучей...

И все-таки этого мало. Каким бы драгоценным не был самый драгоценнейший из земных камней, таковым он становится лишь в человеческих руках. Перелистай календарь собственной жизни. Загляни в дневник: кто был рядом, чья рука согревала твое плечо, кто по-дружески подталкивал в спину, кто желал тебе удачи и кто спорил до сипоты, пока не делал ты этого, своего открытия... Было, все было...

Но другие выпали законы. И способности, совершенно ненужные когда-то ни отцу его, ни деду, ни прадеду, оказались государственно значимыми и шестнадцатилетний камчадаленок становился государственным человеком — одним из командиров огромного национального округа — заместителем председателя окрисполкома.

Хорошо, когда есть способности... Но гранят их человеческие руки...

...Они с женой Марией Федоровной, пока был еще жив Филарет Иннокентьевич, всю родословную перекопали — кто же из родников пел так, как сын Женька сейчас... Отец Марии — фельдшер Федор Холостов? Тут ничего не скажешь, его наследственность просто прет из внуков и правнуков: трое Лонгиновых врачи уже со стажем, правнучка закончила Второй медицинский в Москве.

И пел дед хорошо, говорят. Но и у Лонгиновых в роду пели хорошо... И по сану положено было. Так что природа накопила силу нескольких родов, не одного поколения, и создала удивительный по красоте голос Евгения Филаретовича.

И полноводно, широко, могуче зазвучал он со сцены актового зала четвертой школы Петропавловска, а потом Хабаровского мединститута, концертных залов многих городов страны, Кремлевского дворца съездов, Дворцов искусств Португалии, Америки, Франции...



Поет Евгений Филаретович Лонгинов

Голос потомка камчадалов, голос лауреата премии Камчатского комсомола, заслуженного работника культуры РСФСР.

За границей неизменно узнавали, что поет русский. Даже когда пел на чужом языке. И не по акценту. А по той неизменной силе его песен, что подчиняла себе слушателей. По тому вулканическому фейерверку внутреннего огня, что вырывался из недр возможного и обрушивался на зал.

И в чьей родословной исток этой силы?..

ВЕРСТЫ

Василий Януарьевич Спешнев родился и вырос здесь, в Соболево. Столько лет уже прошло и словно во сне то — давнее, полузабытое. А ведь оно было...

Маленькое село — тогда еще Воровское — с домами-лачугами, где в окнах вместо стекол — рыбья кожа или высушенные медвежьи кишки. Частные лавочки и хозяйские богатые дома вдоль реки Воровской...

И размеренная веками жизнь: от промысла к промыслу, от лета к зиме. По старинке. Без каких бы там происшествий. Разве что приезд губернатора Мономахова? Тогда в честь этого даже в первый раз село переименовали. Событие!?

Нет, настоящие события начались позже. На его глазах. И он сам принял в них участие. Соболевский мальчишка Васька Спешнев.

Аристов

...Остов то чуть касался железным острием наста-первопутка, то вгрызался в него на спусках и стремительных поворотах, и веер белой крупы вырывался из-под нарт. Аристов приглядывался к работе каюра — впервые в жизни он мчался по заснеженной тундре на таком вот транспорте.

А собаки шли хорошо. Точно пружины сжимались и вытягивались на снегу их мускулистые тела, перехваченные на груди и животе ременной перевязью алыков. И потяг, точно струна,— казалось, вот-вот зазвенит.

На очередной Половинке-реке чаевали, отдыхали, и снова бежали по тундре нарты. Цеплялись верста за версту и сливались одна в другой, точно небо и земля в синей линии горизонта.

Однообразие, честно говоря, тяготило: и открытое искрящееся на солнце снежное пространство, незатейливо ровное, в редких островках ольховника, и маленькие деревушки — одна-две на сто верст пути — нищие и грязные.

И опять бежит дорога без колеи и без конца. Летят в лицо крупицы сбитого морозами снега. Позади остаются Утка, Кихчик, Немтик — разве что только названием и отличающиеся друг от друга...

И в который уже раз вспоминает Аристов все тот же случай в госбанке, когда управляющий выдал Мише его «миллиончик»: мешки серебряных советских рублей и полтинников. Хотел он было ухарски подкинуть на плечо один такой мешочек, да с земли только чуть-чуть приподнял и сдвинул в сторону немного. И сейчас в трех нартах — в каждой по двенадцати собак — везут они советские деньги для обмена у населения на доллары и иены — ведь с таким залежалым денежным «ассорти» не развернешь на полуострове советскую кооперацию: денежный курс один быть обязан — государственный.

Вот и трудятся собачки, хватают на ходу снег: который уже день в пути этот караван и не одни деньги на нартах — и пожитки, и припасы, и корм, ведь и запуржить может здесь так, что не одни сутки под снегом сидеть придется... И когда еще повернут они назад, домой?...

...В обратный путь они отправятся через год. Многое успеет сделать за это время Аристов. И не удивительно — наконец-то и здесь, на окраине земли, появилось будущее. Каждый год наполнился теперь особым смыслом. И потому в них умещались целые века. Писались новые биографии.

Года еще не прошло, как сам Михаил стал комсомольцем: день его вступления в Российский Коммунистический Союз Молодежи совпал и с днем рождения комсомола Камчатки — 8 июля 1923 года. Потому наравне с порученными ему финансовыми делами в Соболевской волости он очень много — в каждом селе — занимался с местной молодежью — создавал первые ячейки РКСМ.

Врезались эти дни в память соболевского мальчишки Василия Спешнева. Старшие ребята и девчата о чем-то перешептывались или, наоборот, собирались группками, громко возбужденно спорили. Стоило появиться невысокому худощавому Михаилу, как вдруг рядом собирались и старые, и малые. Аристов рассказывал о России, о Дальнем

Востоке, где сам партизанил еще шестнадцатилетнем мальчонкой, о преобразованиях на Камчатке, кооперации...

И точно сказку какую обещал: будут на побережье Камчатки свои рыбоконсервные заводы, пароходы станут ходить регулярно, и не будет больше никаких проблем добраться до Гавани — как по старинке называли Петропавловск-Камчатский,— а там и самолеты появятся... Смеялись — кто насмешливо, дурашливо, а кто смущаясь за Михаила — во дает! В сказки мало кто верил.

Но в Мишу поверили. И потому даже в Осоавиахим записались. Мачту в центре села поставили, а на ее вершине — полуторааршинную модель самолета: записывайся каждый, кто хочет летать на таком. Острословы тотчас это событие — в частушку.

Самолет ты, самолет,
Голубая крышка.
Тебя делал Ванька Перин
И Аристов Мишка!

По вечерам Аристов собирал молодежь у себя, и они все вместе расписывали роли в маленьких пьесках, разучивали их, репетировали...

В жизнь входило все новое и новое. Создали комитет бедноты. Организовали общество Красного Креста... Можно было и еще кое-что создать, но нечем было платить взносы — у ребят какие-то копейки, да и те родительские.

Тогда кто-то предложил устроиться на работу к японцам: сторожить законсервированные на зиму заводы, засольные базы, рыбалки японских арендаторов.

С этим делом получилось. Аванс — 12 тысяч йен — от фирмы «Ничиро Гио Гио Кабусики Кайша» был первым коллективным заработком молодежи. «...Эх, знали бы япошки, на что пойдут их денежки!». Этот первый опыт соболевчан, получив письмо Аристова, высоко оценит председатель Камчатского облисполкома И. Е. Ларин — как первый практический шаг к коллективизации.

Заводилами же во всех этих делах были друзья Михаила — те же соболевские Спешневы и Трапезниковы, но чуть постарше, чем Василий.

Первый взнос

Василию Спешневу было двенадцать лет, когда соболевская молодежь получила свой первый коллективный заработок. Это был первый, еще робкий, шаг к коллективизации. Следующими шагами было создание Товарищества по совместной обработке земли и рыболовецких артелей.

Спешневу исполнилось восемнадцать, когда в 1930 году на западном побережье полуострова был создан соболевчанами первый рыболовецкий колхоз, который потому так и назвали — «Пионер Запада».

Так уж получилось, что пора коллективизации совпала у Василия Январьевича (так «перекроили» трудное Януарьевич в колхозе) с периодом собственной гражданской зрелости. Правда, внешне последнее выразилось только в обращении: стали звать по

имени-отчеству. Но для Соболево это было не в диковинку: когда в селе одна половина жителей Трапезниковы, а другие — Спешневы, то поневоле, чтобы не запутаться, будешь отчество использовать даже и не с восемнадцати лет. Женщин, так тех вообще только по мужьям отличали — Мария-Петручиха или Харлучиха, или вот Ульяна-Январиха...

Настоящая зрелость пришла здесь, в колхозе, где он работал со дня основания. Пришла с опытом. Рыбацким опытом.

Никогда камчадалы не выходили на промысел в море. Рыбу ловили в реке или лимане. Морского зверя били на берегу. На пропитание хватало — и ладно. А в море — к чему давно привыкли и с чем уже смирились — хозяевами были японцы. С первого дня начала путины и до самого ее конца японские пароходы и шхуны сменяли друг друга, уходя с грузом в Японию, а на берегу, у времянок-бараков и шалашей, там, где прямо в накат волны прибоя уходил крепкий канат с наплавами и кухтылями — морской невод, — штабелями чуть ли не в двухэтажный дом высотой громоздилась продукция: лосось сухого — японского — посола, главным образом, горбуша, которая валила в невода, поставленные через каждые полтора-два километра западнокамчатского, в том числе и соболевского, морского берега.

С образованием колхоза рыбаки начали присматриваться к японскому промыслу. Спорили между собой.

И было о чем: на вертком «тополовном» бате в море не выйдешь, чтобы поставить там невод. Значит, нужны более устойчивые суденышки. Потом — где рук рабочих столько набрать, чтобы засолить всю эту прорву? Вон, гляди: чуть ли не в каждой ячее рыбина, а сколько ее в садке? Соль, опять же, завезут или нет из Гавани? Подойдет ли потом пароход, чтобы забрать всю эту соленую рыбу? А если больше засолим — что с ней?

Все было новым в этом деле, непривычном, но интересном — ведь только-только пробовали свои силы. И пробовал их вместе со всеми Василий Януарьевич.

В море вышли сначала на маленьких шлюпках. Ничего — получилось. Когда невод проверили — рыбы было не меньше, чем у японцев. Даже показалось, что больше. И ясно стало — сможем и мы ловить не хуже. Нашлись и рабочие руки — на засолку выходили всем селом. А вскоре в устье реки Воровской построили государственный рыбоконсервный завод, так что колхоз мог теперь специализироваться только на промысле, а освободившиеся руки засольщиков и засольщиц использовать на другом, не менее важном участке — овощеводстве и животноводстве. Построили молочнотоварную ферму, стали выращивать и продавать рыбокомбинату имени С.М.Кирова картофель и капусту. И пошли дела в гору у их первенца-пионера.

Василий Януарьевич трудился на морском ставном неводе — там, где решались все направления в жизни их колхоза, от оплаты трудодней до создания крепкой материально-технической базы.

Рос колхоз. На рыбалках, где во время первых колхозных опытов с японским ставным неводом стояли шалаши, теперь выросли теплые бараки со столовыми. Ставных неводов в колхозе было уже три. Появились крепкие морские шлюпки, кунгасы...

В 1934 году Василий Спешнев закончил в Усть-Большерецке курсы бригадиров морских неводов и в следующем году открыл первую свою самостоятельную путину...

А «Пионер Запада» был первым теперь уже не только по своему рождению. По трудовым достижениям он стал тоже первым — первым колхозом-миллионером.

По путевке комсомола

В 1934 году во время учебы в Усть-Большерецке на курсах бригадиров морских неводов Василия пригласили в райком комсомола (в то время Соболево входило в один большой район с центром в Усть-Большерецке). Здесь ему сообщили, что он командирован соболевской организацией в Петропавловск на комсомольскую стройку — строительство первого на полуострове аэродрома. Сюда же были направлены, кроме него, на все лето еще четыреста комсомольцев со всех районов Хабаровского края, в состав которого входила в те годы Камчатская область.

Приказ есть приказ и по окончании курсов Спешнев выехал в город. Дорога предстояла длинная — более двухсот верст нужно было трястись в телеге.

...Солнце припекало уже вовсю. И чем дальше отъезжали от побережья, тем крепче. Менялась и сама местность. Все чаще и чаще стали встречаться березы — каменные, застывшие в причудливых позах — точно исполняли они корякский танец и так и застыли, — задумчивые белоствольные красавицы. Как на дрожжах лезли из земли шеламайник, сладкая трава, морковник. Цвела рябина. Воздух был наполнен таким густым ароматом, что кружилась голова — это не пегие кочки Усть-Большерецка. А дорога все петляла по лесу, поднималась к хребтовым перевалам. И чем ближе подъезжали к Елизово — а оттуда рукой подать до Петропавловска, — тем веселее, без понуканий шла их лошадка, чувствуя под копытом все более и более крепкую, набитую тропу, а за Елизово и вообще благодать — там настоящая дорога, надежная, с крепкими мостами...

Три месяца прожил Василий Януарьевич в Халактырке, где строили новый аэродром. Даже город толком не посмотрел — некогда было, торопились успеть: корчевали кустарник, ровняли летную площадку — тонны грунта перетаскали на подсыпку, бетонировали, строили ангары, летный городок. Сроки были неимоверно сжаты — Камчатка.

А когда аэродром был уже готов к приему самолетов, которые летели сюда из Хабаровска вдоль побережья Охотского моря, сначала с юга на север, а потом — наоборот, Василий сразу отправился домой. Снова добрался на лошадях до районного центра по разбитой осенними дождями дороге, засыпанной желтой листвой, а оттуда двинул домой пешком. Шел по прибойке, прямо по зыбуну-песку. Море дышало в лицо йодом и солью; волны-лизуны, точно утюги, разглаживали песок, и он был как снежный наст ранней весной: крепкий, почти не оставляющий следов. Впереди, до Соболево, было не меньше двух недель ходьбы, но Василий не расстраивался — чуть ли не через каждые десять-пятнадцать километров стояли теперь на побережье поселки: засольные базы, рыбоконсервные заводы, рыбалки, где всегда находились знакомые, а значит было где переночевать и что перекусить. Так что можно было идти вдоль моря и год.

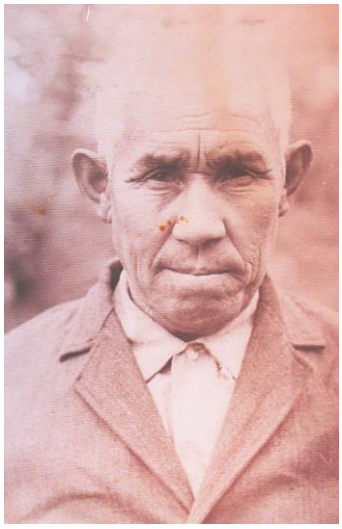
А оно лоснилось в лучах сентябрьского солнца, словно кто вылил в море не одну бочку рыбьего жира. Таращились из воды круглые глаза нерп — спутников долгого пути. Кричали над головой чайки.

Василий, глядя на них, представлял себе самолет. Воображения не хватало и он мысленно заковывал в железо серых морских чаек, что, раскинув крылья, кружат бесконечно долго и без единого взмаха в высоком голубом небе.

Менялась погода. Взбухало море, подготавливая себя к осенним штормам. Набрякшее небо серыми лохмотьями цеплялось за землю. Прочищал глотку ветер. И все пустынней становился берег: закрывались сезонные базы, снимались невода, и уходили в серую пелену дождя последние пароходы.

Нужно было спешить. Эх, самолет бы сейчас,— вспоминались рассказы хабаровчан о быстрокрылых железных птицах,— давно бы дома был...

Звание — ветеран



Василий Януарьевич Спешнев

Я беру в руки районную газету «Камчатский рыбак» за 7 ноября 1977 года. На весь разворот подборка статей о соболевчанах. Фотография Василия Януарьевича. А вот и о нем — рабочий Соболевского госпромхоза. Рыбак и охотник. А рабочему — 65 лет. Вот и подсчитайте теперь рабочий стаж лучшего охотника и рыбака Соболева.

Каждый ительмен был и охотником, и рыбаком. Одно, за век, стало неотделимо от другого. И потому, завершив путину, колхозники брали в руки ружье. Так было в тридцатых, а тем более в сороковых годах, когда на страну обрушилась война.

Время было тяжелое. И не только на фронте. Мужчин в колхозе осталось мало: кто был призван, кто ушел добровольцем. А ему приказано было остаться здесь: тут ваш фронт.

Василию Януарьевичу дали комсомольско-молодежную бригаду, а в бригаде этой одни пацаны того самого возраста, с которого начинал и сам — мальчишки, которым тоже пришлось быстро повзрослеть. И можно было представить, какая она была — эта военная путина.

А по осени выезжали на охоту. И до весны. Сплетались камчатская вековая наука промысла с собственным опытом и мастерством, смекалкой, выдумкой и тонким расчетом. И потому было очень трудно стать лучшим. А он — стал. Свидетельство тому — медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».

И с тех пор прошло еще три десятка лет, а он по-прежнему оставался в строю — старый рабочий, ветеран.

На его глазах преображалось село. В тридцатых годах он вместе со всеми односельчанами и жителями окрестных сел и поселков строил здесь начальную школу.

Строил и первую маленькую больницу.

Кого теперь удивишь на Камчатке типовой средней школой и ЦРБ? Кого удивишь колхозом-миллионером, неводами и тралами, супертраулерами и плавзаводами? Или — стремительными «Яками» и «Чебурашками» — Л-410?

Но удивителен сам человек, пятьдесят с лишним лет назад начавший свой путь в сегодня. Тот, кто создал это сегодня. Кто был в числе первых.

Он был такой же, как все здесь: ительмен, один из шестнадцати детей Януария и Ульяны Спешневых и один из шести, кто не умер младенцем...

Клехлвол-учитель

Карие, в рыжинках солнца, глаза ительмена Никифора Наседкина возбужденно блестели.

— Ты пойми, девоцка, цто напанцам уцитель во как нузен,— прочертил он краем ладони по горлу. — Цто, мы хузе других? Прослой зимой Колю Юсина из райкома комсомола у твоего брата Кости вытребовал, так в этом — забрали... А кто зе насих детей уцить будет?

Мне Цубаров в походе так говорил: разобьем беляков и будете сами зизнь строить на Камцатке новую, детей грамоте выуците, больсими людьми они у вас будут... А поцему тогда вы в Напану ехать не хотите? Цто, в Напане плохо? Нам уцитель нузен, понятно?! Цтоб свой потом уцитель, напанский, был, цтоб свой доктор напанский, цтоб и нацальник тозе свой, напанский, был... Цубаров говорил, цто так будет. А вы не едете в Напану, не даете нам уцителя... Поехали, Алексеевна, к нам, оцень тебя просу.

И вообсе — ты комсомол или нет: в прослом году на окрузном съезде Советов говорили, цто поголовно всем дать нацальное образование в насем Тигильском районе, а напанцы — цто, на луне зивут, да!? Нет, они тозе тигильские, так цто поехали, Логинова, в Напану. Я районо узе уговорил. И отец твой, Лександрыц, тозе согласен. Так цто поехали, девоцка...



Село Напана

* * *

В 1931 году на Культбазе (в Каменском) собрались делегаты северной Камчатки для проведения 1-го окружного съезда Советов. Среди делегатов был и молодой работник Тигильского исполкома Константин Логинов. В перерыве кто-то спросил его:

— Как ты думаешь, Костя, если вашу Тигильскую школу-семилетку мы сделаем кузней молодых учительских кадров. Ты сам слушал в выступлениях, что необходимо начать работу в округе по переходу на всеобщее начальное образование, а вот с кадрами туго. Ваша семилетка единственная у нас, так что все надежды на тигильчан. А?

— Честно говоря, не знаю. Знания в школе дают хорошие. Но ведь одно дело учиться и совсем другое — учить кого-то...

— Это на сегодня не самое главное. Организуем курсы, получите вы основы всего, что в этом деле необходимо. Я говорю о принципе: годны ли ваши тигильчане по своим внутренним качествам к этому — поднять образование до сегодняшних вершин, сделав его всеобщим начальным. А это ведь задача чрезвычайная: работать придется и в стойбищах, и среди недоброжелателей. Ты не улыбайся — по молодости мир всегда только прекрасен. Нет, трудностей выпадет им немало. Справятся ли? Выдюжат? Вот это больше всего нас волнует. Как думаешь?

— В ребятах уверен. Не белоручки. Трудностей никто у нас не боится — где их на Камчатке не хватает.

* * *

Наконец-то Елена вздохнула полной грудью — семилетка за плечами. На календаре — ноябрь 1932 года. За окном — зима в рассыпчатых, прокаленных морозами, снегах. А в самых ближайших планах — не замерзнуть на нартах, пока доберутся они с каюром до Лесной. И светлые, радостные были ее дорожные мысли. Школа в Лесной располагалась далеко от села: километра полтора нужно было бежать сюда ребятне. Строили ее еще до революции и, наверное, с желанием лишь бы отвязаться от начальства. Вот и получилось — на дальней окраине.

В школе работали вдвоем — Пантелей Васильевич Лонгинов из Паланы и она, Елена Алексеевна Логинова, тигильчанка — дальняя и кровная родня. Пантелей Васильевич был заведующим школой-интернатом, а Елена Алексеевна... трудно и сказать толком... Лучше уж по порядку перечислить все. Всеобуч — он и есть всеобуч. Учить нужно всех, без исключения: и старых, и малых. И домоседов — оседлых коряков, и кочевников. Тех, кто жил в Лесной, учить труда большого не составляло: утром — до обеда — занимались дети, а после — взрослые. А вот с оленеводами-кочевниками — так просто беда! О взрослых вообще никто пока серьезного разговора не заводил. Для детей же в Лесной и был организован интернат — первый на севере, — в котором Елена стала хозяйкой. Подопечных и два десятка не наберется, а хлопот с ними с утра и до поздней ночи. Ребятишки дичатся, всего боятся, чуть что не так, не по ним — летят, как оленята-каюю, в табуны свои, домой, хоть до этого дома по целине снежной не один десяток километров. Умываться они не приучены, зубы чистить боятся, на постелях под одеялами изворочаются — не уснут, хоть суй их снова в кукуль, супы-каши едят плохо: все бы им только мясо; рубашки и брюки в первый день вообще поверх кухлянок и меховых штанов-канайте понатянули. И смех и слезы.

Понавозишься с ними, сказку на ночь про Кутху расскажешь, кучу белья перестираешь, а там уже сквозь ледяную корку на оконных стеклах растекается по комнате малиновое утро, пора поднимать ребятишек и идти на занятия в школу, нередко занимаясь и со своими, интернатовскими, и с лесновскими вместе. А Пантелею Васильевичу в это время приходилось мчаться на собаках в табуны за беглецами-каюю. Коряки не понимали его — зачем детям жить в казенном доме в Уемлене, если дома лучше. Зачем учиться? Олешкам буквы эти не нужны. Нет, не понимали его оленеводы. Но и не сопротивлялись.

Но верили ли они им, учителям? Или просто полагали, что детям в Лесной будет не хуже, толку же от них в табуне никакого — так что пусть катаются, хоть забава какая. А потом подрастут, выбросят из головы все ненужное, лишнее — и постели эти, и умывание по утрам, и одежду матерчатую, и грамоту. А пока пусть забавляются...

Вот так и прошел первый год. Следующий был уже в Напане. Здесь прозвенел, как весенний ручеек, — напанцы жили весело, тянулись, как шеломайник к солнцу, ко всему новому. От Бога они отказались в числе чуть ли не самых первых камчатских безбожников: церковь отдали под школу — своей школы здесь не было никогда. Смастерили настоящие парты. Вечером собирались в школе всем селом, пели песни, слушали стихи или занимались с неграмотными. Жили же в Напане сплошные Наседкины. Как одна дружная большая семья. И интересовались здесь всем на свете, вопросов Елене задавали множество. И скоро ясно стало учительнице, что знаний после семилетки явно не хватает, что не поспевает она за своими любопытными учениками. И летом 1934 года Елена Логинова направлена на учебу в Ленинград, на подготовительное отделение Института народов Севера. Это была необыкновенная поездка — каждый день, да что там день — час, минута — открытие, чудо, волшебство, сказка. Пароходы, поезда, автомобили, трамваи — все это она видела первый раз в своей жизни. Как и обыкновенных воробьев, зеленых лягушек, юрких ящерок, гибких змей, шустрых ласточек, не говоря уже о величественных зданиях с колоннами, знаменитой реке в гранитных берегах, арках, разводных мостах бывшей столицы Российской империи.

В 1936-м она вернулась домой. И снова замелькало: Палана-Кочевая, Воямполка-Кочевая... Да, теперь уже школы открывались и в стойбищах кочевников. Здесь тоже ликвидировалась безграмотность, создавались предпосылки для перехода на оседлость. Вот тут-то и столкнулась Елена Алексеевна с противостоянием. Дважды сжигали здание школы в Воямполке-Кочевой. Но учительница не сбежала, выстояла. Тогда начали изводить ее страхом: ночью она, зажав кулачками рот, чтобы не закричать, забивалась в угол и горько, навзрыд, плакала. А назавтра снова шла в школу, на уроки. Но классы встречали ее тревожной пустотой — кто-то пустил слух, что придут из леса травяные люди и напустят мор на каждого, кто не желает жить так, как завещали им предки... И родители, в испуге, не пускали ребятню в школу. Нужно было убеждать теперь уже взрослых. Взрослых, которые по-детски верили в сказки.

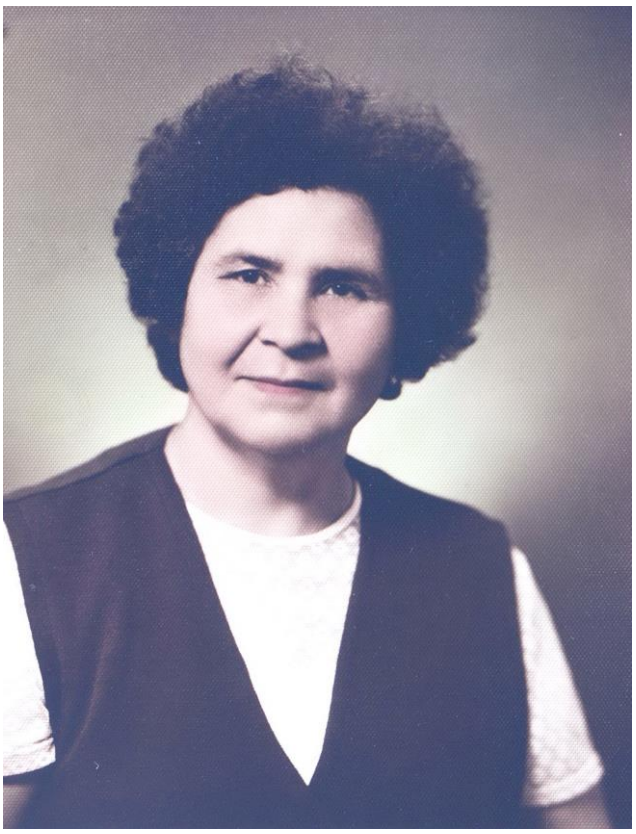
И снова Ленинград. Здесь уже были многие ее земляки. Таня Слободчикова (она станет знаменитым хореографом Лукашкиной), Иван Жуков, Павел Ласточкин, Корнелий Ноянов; ее друг, первый корякский писатель Кецай Кеккетын из Воямполки... ительмены, коряки, чукчи.



Студенты (в том числе Татьяна Лукашкина) на встрече с Н.К. Крупской

И снова бурная институтская жизнь поглотила ее. Лекции тех, чье имя сегодня знает весь мир. Встречи с теми, кого мир уже знал и полюбил. И друг с другом. Они открывали здесь себя самих и остальных. Вспыхивали, как в весенней тундре первые цветы. Незатейливые, скромные. Но с живым семенем. В Ленинграде Кецай написал маленькую повесть о своем отце, бывшем батраке. И стал в двадцать лет основоположником корякской литературы. И так, молодым, ушел в историю — началась война и вместе со многими земляками стал ополченцем и не вернулся с ленинградского фронта. Но по-прежнему по весне расцветает его тундра, вспыхивает огоньками все новых и новых соцветий.

А Елена Алексеевна, не закончив из-за войны учебы, вернулась на Камчатку. К своей работе. Снова на Север: Верх-Парень, Тигиль... Еще на тридцать лет.



Елена Алексеевна Логинова

А сколько людей, сколько судеб прошло через всю их династию просветителей-педагогов — ведь в 1995 году исполнится 250 лет, четверть тысячелетия с той поры, как несут они жителям Камчатки свет знаний.

РОДНИКИ

Память... Она в каждом из нас. Как сердце. Неощутима, пока не приходит боль.

...Корень юшинский уходит в далекое прошлое. По приказу Петра Великого были направлены архангельские поморы на Камчатку, чтобы приблизить дальний, богатый мехами и всякими диковинами, полуостров к земле Сибирской, а то в обход Охотского моря слишком долгим и опасным был путь казаков-ясачников, хотя в те времена жизни людские дорого не ценились: главное, пушнина пропадала. А она ведь шла в государеву казну!

Какую роль играл в те времена Юшин — неведомо. Был, правда, в экспедиции Беринга подштурман Харлаам Юшин, но родник ли он или просто однофамилец — пока неясно. Как неясно еще многое. Был бы в целости архив дяди — историка — кое-что прояснилось бы: так много было материала по камчатской старине. Но пропал архив бесследно после смерти Роберта Павловича. И отец, видимо, этого тоже боялся — завещал весь свой архив, как наследство, ему — Павлу.



Казак Юшин

...За окнами ярким бисером звезд расшито ночное небо. Так же, как и сотни лет назад над маленькой крепостью, затерявшейся в необжитой еще земле...

Уже пожелтели газетные страницы — всего за несколько лет до смерти опубликовал Николай Павлович свои воспоминания в тигильской районной газете. Бежит время, бьют его родники, ручьями растекаются по земле, и вот уже новое поколение Юшиных растет.

Вчитывался Павел в скупые вырезки и пытался понять отца — для чего все это? Мало ли историков, краеведов, музейных работников, для кого все это — работа: изучают, пишут, и не так кратко и сухо... Стоит ли вот ему, Павлу, взяться за описание собственной жизни? Вроде, нечего — учился, служил, потом вуз окончил, женился, работал... Обычная жизнь — схема какая-то... Не то, что у деда...

Тому было 26 лет — на шесть лет, стало быть, помоложе собственного внука был — когда началась русско-японская война. По приказу начальника Петропавловского уезда Сильницкого на Камчатке были организованы многочисленные дружины народного ополчения. Павел Иосифович Юшин возглавил Тигильскую. И командовал неплохо: за события в устье реки Воямполка был награжден Георгиевским крестом.

События же разворачивались в тот год стремительно. На материке шла война. Зная, что на Камчатке русских войск нет, японские шхуны смело подходили к ее берегам, чувствуя себя по-хозяйски, уверенно и нагло. Действовали в открытую, знали — скоро здешние рыбные промыслы будут в их руках. Потому уже сейчас выбирали, отыскивая

для себя самые рыбные реки, чтобы потом, выиграв войну, успеть и на Камчатке урвать кусок пожирнее, а то, глядишь, американцы перехватят — руки у тех длинные, а ссориться с ними не хочется: только в дружбе с американцами можно было противостоять поверженной России и навязывать ей свою волю на Тихом океане... И спешили быть первыми, рыскали у камчатских берегов, заходили в устья богатых лососем рек: дружба — дружбой, а будущий барыш ни с кем делить не хотелось.

И вот одна такая шхуна встала в устье реки Воямполки. Под видом мирных рыбаков японцы изучали местность, прикидывали будущее расположение рыбалок, консервных заводов, подсчитывали реальную прибыль от богатств этой северной реки. И не заметили, как подошел ополченский отряд Юшина, предупрежденный о появлении японцев своими секретами, как, пользуясь предрассветным туманом и ранними часами, когда сон притупляет бдительность, легкие камчадальские баты скользнули к бортам шхуны. Бой был коротким, но яростным. И казаки его выиграли.

...Павел вновь и вновь перечитывал страницы этого рассказа о бое на Воямполке в 1904 году. Во что верили ополченцы, пытаясь своими, пусть и решительными, но малыми силами противостоять тем, от кого несла поражение сейчас Россия? Безрассудство? Слепое подчинение приказу?

Нет, не были наивными эти люди, привыкшие выходить один на один с медведем, ни тем более безрассудными. Значит, была вера: защищали они свое Отечество, своих детей.

И не их вина, а горе это людское, что проиграли войну царские генералы, и летом 1906 года в соответствии с XI-й и XII-й статьями Портсмутского договора в Петербурге начались русско-японские переговоры по вопросам торговли и рыболовства. Японский уполномоченный Ичиро Мотоно представил проект конвенции, по которой по всему морскому побережью Дальнего Востока, за исключением устьев рек, некоторых бухт и заливов, японские рыбаки наравне с русскими могли получать с торгов рыболовные участки, на которых работали бы японские рабочие и куда можно было беспошлинно привозить все необходимое. Договор был подписан сроком на 12 лет.

Вот так! Смысл победы был в бое. Даже самой маленькой победы. Но при абсолютном поражении, и большая победа превращается в мизер, в ноль, в ничто. Камчатские дружинники не были вне России, и не решала горстка людей на Камчатке своей судьбы отдельно от всех судеб страны, да и была ли их судьба вне истории, а историю решали за них сановные вельможи и цари-батюшки... И что — кресты... На груди ли... На могиле... Один сплошной обман на земле...

...Однажды, еще мальчонкой, Павел Иосифович приехал с дядей, частным командиром Тигильской крепости, взявшим на воспитание бойкого паренька из многодетной и бедной семьи брата, в корякское стойбище. Подвыпивший коряк хвастал Юшину:

— Смотри, командир, я теперь бокатый стал, — говорил он пошатываясь, — я хитрый, командир: все сополя продал, а мне японец Мотузики деньки тавал. Я теперь бокатый стал... — и он показал изумленному Ивану Михайловичу... пачку этикеток с консервных банок.

А когда Павлуша спросил дядю, почему он не догнал торговца и не вернул пушнину хозяину, тот лишь рукой махнул: «Многие пытались бороться с купцами, как нашими, так и иноземными, и никогда это добром не кончалось...»

Да, на Камчатке жилось не сладко. У Павла теперь достаточно оснований так считать. Вот хотя бы эти выписки из архива: на жалованье, столовое и прочее

содержание от казны казакам полагалось по 9-10 рублей в месяц, и потому не вылезали они из долгов. Служили же они честно — опять же долг перед Отечеством.

А вообще это были обыкновенные сторожа-пограничники, охотники и рыболовы, как и все на Камчатке, оторванные, казалось бы, от всего, что происходит в самой России, далекие от всего этого, как и сама Камчатка. Вроде бы, там были свои беды, а здесь — свои. А оказалось, нет — общие. Общая нужда и общее горе.

Потому-то и сдружились в Тигиле казак Юшин, политические Рябиков и Девеев. И не ждали, как в красивой сказке доброго конца, ничего хорошего от русского царя: так немудрено будет разделить участь Русской Америки — с потрохами продадут...

И кто бы поверил тогда, что уже юшинский внук будет студентом энергетического института, работать на крупном заводе, иметь в подчинении людей с высшим образованием. Да и только ли внук: сыновья Павла Иосифовича, тот же Николай Павлович...

А ведь чего-то хотели и тогда, были же какие-то мечты, когда совершилась революция, и ее волна, что цунами, захлестнула Камчатку, когда избирали тигильчане Павла Иосифовича первым председателем волостного народно-революционного комитета, направляли делегатом на 1-й Чрезвычайный уездный съезд Советов в Петропавловск.

И он вез оттуда землякам очень важное — то, о чем мечталось: «Теперь мы сами будем распоряжаться богатствами своей земли...»

...Давно уже стали историей эти дни. Целые тома написаны, но остаются еще белые пятна.

Все имеет свои масштабы и познается в сравнении. Так и здесь: на юге и на севере полуострова власть была в руках белогвардейцев, а в Тигильской волости красные партизаны установили Советскую власть. И эту новую страницу истории создавали земляки Павла и, прежде всего, — дед.

Он старался для потомков, и потому внук дополняет сейчас эти разрозненные временем страницы, чтобы воссоединить прошлое с настоящим.

«...Последнюю свою ставку белогвардейский полковник Бочкарев, засевший в Гижиге, сделал на тигильчан. В селе была хорошая телеграфная связь с Петропавловском. Кроме того, с западного побережья решено было перебрасывать войска Северного экспедиционного отряда.

На что же рассчитывал здесь белогвардеец? На то, что из века в век несли тигильские казаки верную службу своему Отечеству? Что это формировало характер, суждения, взгляды, определяло позицию. А позиция солдата — это приказ его командира?!

Видимо, потому Бочкарев приказал превратить Тигиль в административно-пропускной белогвардейский пункт. И сам поверил в этот свой приказ.

Но выстрел в сердце Камчатки не получился. Вышла осечка. Когда же белогвардейцы попытались применить силу, — им же и переломили хребет красные партизаны из отряда Павла Иосифовича Юшина и установили Советскую власть по всей волости, а позже, влившись в отряд Григория Чубарова, тигильчане вместе с красноармейцами довершили разгром бочкаревцев на севере полуострова.

Нет, камчадалы уже не связывали будущее Камчатки со старой властью. Ее они уже всласть нахлебались, как и горюшка. И потому взялись за оружие, чтобы утвердить право, обещанное Советской властью — быть настоящим хозяином этой земли. Впереди еще было немало боев. Теперь уже с японцами, которым Советское правительство пока

еще было вынуждено дать разрешение на аренду рыболовных участков. Но все увереннее становилась на ноги собственная рыбная промышленность, набирала силы, вытесняла иностранцев, контроль за промыслом которых на территории Тигильского района вел начальник районной милиции Павел Иосифович Юшин».

Так что продолжалась служба потомственного казака — он снова охранял свою, подлинно свою, землю, берег ее для своих детей, боролся против всего, что было направлено против интересов его родины. Подрастали и сыновья. И продолжалась биография...

А время было очень неспокойное. У самого устья реки Тигиль, рядом с русскими рыбалками располагались и японские. Японцы тоже ловили лосось. Только не в реке, а в море — ставными неводами, которые двух-трехкилометровой преградой вставали на пути тигильской рыбы. А что оставалось делать? Как было поднять Камчатку и создать здесь настоящую советскую рыбную промышленность, не подписав этого договора с Японией? Во-первых, японские браконьеры и так, безо всякого спроса, хищнически промышляли камчатскую рыбу, — где только могли. А могли практически везде: попробуй усмотри и догони. Проконтролируй эту армаду шхун и пароходов, когда с великим трудом находили во Владивостоке паровую «калошу», чтобы доставить с материка в Тигиль хотя бы продовольствие. Вот и грабят. И не защитишься, не имея силенок. А по договору они хоть за эту рыбу золотом платят. А, во-вторых, согласно рыболовной конвенции японцы берут на себя и обеспечение Камчатки продовольствием и различным промысловым оборудованием рождающуюся рыбную промышленность. И придет время, когда не захотят, а потеснятся, а потом и вовсе уберутся из наших вод.

Пока же терпеть надо, сжимать зубы до боли, копить силушку, чтобы при случае посчитаться... И есть за что.

В последнее время тигильские рыбаки очень часто встречали на рыбалке начальника милиции пьяным прищуром, смехом, каким-то полувиноватым, полуподленьким. Сын, Коля, это ощущал просто физически: словно кто водил ему по коже чем-то горячим. Отец каменел лицом, шаги его делались тяжелыми, точно ноги не сгибались в коленях, глаза темнели, заполняясь до краев злой слезой, как тигильское устье в лютый осенний шторм.

— Так! — бросал он, как камень. И лица, виноватясь, прятались в толпе, втягивались, сжимались, кривились. А бывало — кто-то хихикал, ухмылялся, юродничал. И клокотало все в Коле, будто плескал кипяток из своей души отец не только в эти пьяные лица, но и на раскаленные камни в душе сына. А чем помочь отцу, он не знал. Да и сам отец — Коля видел — сидел на бревнышке у реки — глаза задумчивые, грустные, губы вздрагивают: видно, разговаривает сам с собой, а о чем, отсюда, из-за кустов, и не расслышишь. Наверное, япошек ругает. Конечно, это они спирт привезли, на рыбу его у наших рыбаков меняют. Вот бы выследить. Отец уже столько времени ищет этот тайник, где японцы спирт прячут, и все бесполезно. Вот бы отыскать! Опасно, правда, — рассказывают, что японцы и убить могут: много темных дел за ними числится. Вон, по пьянке уже сколько людей утопло, а поди разбери: то ли он на самом деле пьяный был, то ли подстроил кто... В отца сколько раз уже стреляли ночью, а кому еще, кроме японцев, он насолил — держит их за горло, не дает нашей рыбой, как своей, распоряжаться...

Долго еще кареглазый мальчик смотрел из-за кустов на отца. Жалел его и не понимал еще, что рождалось в это время в собственной душе, и почему так охотно подчиняется он этой внутренней силе и даже не страшно вовсе, так, посасывает только немного под ложечкой...

...Все произошло случайно, как бы само собой. Они с ребятами ходили по грибы и, отдыхая, развалились в траве на полянке, закрытой со всех сторон густыми зарослями шеламайника. Вдруг мимо прошли японцы. Несколько человек. Переговариваясь на ходу чуть ли не шепотом и все время оглядываясь по сторонам. Ребят они не заметили. А те, обмирая от страха, ползком скользнули за ними. Шеламайник надежно прикрывал разведчиков широкими листьями, только потревоженное травяное комарье жалило немилосердно, кусала крапива, палила руку горячая пучка, за которую Коля схватился сгоряча, схоронившись от японцев буквально в нескольких шагах от них. Те остановились и, подчиняясь приказу старшего — синдо, подвернули дерновину у кустов. Открылся лаз. От волнения у Коли вспотели ладошки. Он оглянулся. Сзади — то здесь, то там — горели возбужденные глаза товарищей. Сердчишки трепыхались у всех, да так громко, что неспокойно дернулся несколько раз, испуганно оглядываясь, синдо. Один раз Коля даже встретился с ним глазами. Юркие, как мышки, они не зацепились на его лице. Но дыхание у Коли перехватило так, что он чуть не задохнулся.

Из отверстия, откуда несло холодной сыростью, японцы вытащили несколько железных банок. Снова приложили к земле дерновину — и все исчезло, точно и не было здесь ничего и никого. Распрямилась примятая трава — никаких тебе следов. Но ребята и не рискнули рассматривать: пятясь задами, они углубились в лес, а оттуда — что есть духу к Павлу Иосифовичу.

Вы бы видели, как посветлело лицо отца, залучились глаза, как, скупой к ласкам, опустил он тяжелую жесткую ладонь на голову сына:

— Вот и у тебя, Николай, произошло боевое крещение.

...К японцам отправились большой группой. Синдо вежливо раскланивался, расплываясь в ядовитой улыбке. А глаза обеспокоенно перепрыгивали с одного лица на другое, ну совсем как мыши из норки в норку. Павел Иосифович сделал официальное заявление. Синдо притворился непонимающим:

— Сакэ нэ быро... русска групости говорит... я заставру отвецать...

Но за отцом пошел сразу. Там, у тайника, составили акт об обнаружении более ста литров спирта. А на следующий год в устье Тигиля уже не было японских рыбалок. Бой был дан по всем правилам.

Не предполагалось тогда, что в жизни у Николая будет еще много боев. В 1932 году Юшин закончил семилетку и был избран в только еще образовавшийся райком комсомола руководителем районной пионерии, а затем поехал учить грамоте камчадалят в Напане. Затем Ленинград, институт народов Севера. Николай Павлович готовился стать учителем. Но прежде ему пришлось стать солдатом: началась Великая Отечественная война.



Николай Юшин

«Ну вот, дорогой отец, — писал на Камчатку Николай, — настало время и мне служить верой и правдой своему Отечеству. Я призываюсь в Красную Армию. Этим я очень горжусь, ибо защита Родины есть священный долг каждого гражданина СССР... Я хотел стать учителем, а теперь буду солдатом. Сама жизнь указывает дорогу нашему поколению. Уходя в армию, я приложу все силы, чтобы быть достойным дисциплинированным бойцом...»

И шли письма на Камчатку, рассказывая о солдатской службе, о сложном международном положении в Европе. 22 июня 1941 года — вот как случается в жизни! — Павел Иосифович получил от сына последнюю мирную весточку:»...Никто не может гарантировать, что война не вспыхнет и на Тихом океане. И, может быть, еще раз вам придется тряхнуть стариной. И плечом к плечу мы с вами, отец, встанем в ряды защитников страны».

А на западе уже гремели бои. И сражался сын с фашистской нечистью. А внук, Павел, собрал сегодня воедино рассыпанные в памяти пожелтевшие от времени страницы той легендарной летописи священной для нас войны.

«ВОЙНА. Бежали по земле тени «юнкерсов», летели бомбы, дыбилась земля, надсадно выли мины. Этот вой остался в памяти сильнее прочих примет войны.

В боях у Днестра противник потеснил дивизию. Ему удалось отрезать один из полков, в котором оказался и взвод Николая Юшина. До самого последнего момента взвод сохранял связь между подразделениями. До самого последнего... Пока не

сомкнулось вражеское кольцо. Но нужно было вырваться из окружения, вывести не только людей, но и сохранить боевую технику. План был дерзкий: на трехконных двуколках и трех парных телегах, как только стемнеет, без шума, без выстрелов поехать дорогой, занятой немцами, миновать захваченные ими села и соединиться со своими частями.

...Снят часовой на мосту. Связисты въехали в село, занятое немцами. Они ехали мимо танков, орудий, горящих костров, слышали чужую речь, пьяные песни. И нахлестывали лошадей.

Первое село миновали благополучно. А на окраине второго — нарвались на огонь. Фашисты стреляли на звук стука колес и цоконья копыт. В ответ полетели гранаты, залпом ударили винтовки. С боем прорвались, только два бойца были ранены и один убит.

Рассвет застал их у нашей передовой. Спустя три часа они были у своих.

За мужество и находчивость командующий Южным фронтом наградил Н. П. Юшина орденом Красной Звезды. Ему было присвоено звание младшего лейтенанта.

БОИ НА ЭЛЬТИГЕНЕ.

Глухой ночью 1 ноября десантники подошли к крымским берегам. Сильная волна заливала десантные баржи. Резче и холодней становился ветер. Штормовые волны. На палубе и надстройках появилась ледяная корка...

Отец вспоминал:

«Под ураганным огнем бросаемся в воду, выбираемся на берег, преодолеваем колючую проволоку, забрасываем ее бушлатами и шинелями. Прорвались. А тут — на тебе! — минное поле. Сколько там полегло наших!..

А на рассвете против нас были брошены части двух немецких пехотных дивизий с танками. В первый день мы отбили до двадцати контратак врага. Добиться успеха, несмотря на большой перевес, гитлеровцам не удалось. Тогда они решили взять нас измором. Лишили снабжения, перекрыли возможность эвакуации раненых. Но, несмотря ни на что, десантники продолжали сражаться. Но вот уже и боеприпасы на исходе, жажда мучает, нечего есть, много тяжелораненых... Получили приказ прорываться к основному десанту. А фашисты стремились столкнуть нас в воду Керченского пролива, раздавить гусеницами танков, уничтожить артиллерией, забросать бомбами с самолетов...

Темной декабрьской ночью десантники внезапным ударом прорвали кольцо окружения. И начался стремительный рейд по тылу врага. На Керченских высотах захватили немецкие доты и дзоты, но выбраться из них не могли — сверху насели немцы. Пришлось вызвать огонь на себя наших дальнобойных батарей, расположенных на Таманском полуострове, и выбираться под их прикрытием...»

А потом беспамятство, и друг, Петр Рожков, несколько километров нес на себе раненого командира.

НА БЕРЛИН.



Николай Павлович Юшин

Победная весна 1945 года. Ласково греет апрельское солнце. В редкие минуты между ожесточенными схватками с отчаянно сопротивляющимися гитлеровцами в предместьях вражеской столицы вздохнет полной грудью боец, и радостной птицей мелькнет мысль: «Скоро конец войны, скоро к родным, домой!»

Части 13-й гвардейской армии генерала Н. П. Пухова вышли к окраинам Берлина.

А перед самой победой, на участке, где действовали связисты-гвардейцы, произошло следующее: матерые гитлеровцы, сражающиеся с яростью обреченных, и юнцы-фанатики из «гитлер-югенд», вооруженные фауст-патронами, потеснили одно из наших подразделений, состоявшее в основном из малообстрелянных бойцов недавно прибывшего пополнения. И в этот момент прозвучал голос Юшина:

— Гвардейцы! За мной! Даешь Берлин!

Решительные и умные действия солдат-ветеранов помогли новобранцам прийти в себя, оправиться от временного замешательства, и вот уже гремит, нарастая, победный клич:

— Ура-а! Даешь Берлин!

И советские воины вступают на улицы Берлина. Яростно вспыхивают ожесточенные схватки. И здесь, на окраине вражеского логова, воин-камчадал был сражен осколком разорвавшегося фауст-патрона.

Здесь, в немецком городе Дебрене, и встретили раненные фронтовики день Великой Победы...

«Настал радостный долгожданный день Победы над Германией. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена, — говорилось в памятке, выданной гвардии старшему лейтенанту Н. П. Юшину командованием и Военным Советом 13-й армии. — В ходе войны воины Красной Армии и Вы в том числе отдали все силы делу защиты Отечества, пережили неисчислимые лишения и страдания. Кровь, пролитая на полях сражений, не пропала даром. Наше правое дело увенчалось полной победой.

Военный Совет 13-й армии поздравляет Вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны и объявляет благодарность за самоотверженное служение Родине в составе войск 13-й армии...»

ИЗ РОДА ВОЖДЕЙ

1. Мерлин

Еловское восстание задыхалось. Не успел сгореть казачий Нижнекамчатск, как погибли в огне нового, отстроенного ительменами острога у подножия Горелой Сопки не пожелавшие сдаться в плен повстанцы. А там вскоре и сам руководитель — Федор Харчин — стал пленником. Казачьи отряды рыскали по реке Еловке, отыскивая бунтарей и расправлялись с ними. Верный Харчину Тигил со своими товарищами не пожелали сдаться и, убив, по старинному обычаю, жен и детей своих, покончили и с собственной жизнью с присущим ительменам хладнокровием.

Дядя Харчина, ключевской тойон Голгоч, когда основные силы еловских ительменов были разбиты, двинул со своим малочисленным отрядом вверх по реке Камчатке к тойону самого крупного в долине древней Уйкоаль (Камчатки) острожка Кунутпочичь — Начике Машурину, чтобы, объединившись, выступить опять против казаков.

Но Начика не принял бунта. Да и поздно уже было, если бы он даже и выставил всех своих воинов: с устья реки Камчатки неожиданно для всех повстанцев двинулся крупный воинский отряд, который не убыл накануне бунта, как предполагалось, в Анадырский острог на боте «Святой Гавриил», а случайно, благодаря «противному» ветру вернулся назад в устье, где команду ожидала весть о захвате камчадалами Нижнекамчатского острога и гибели его гарнизона.

Шли казаки к Еловке и из Верхнекамчатского острога. Так что было поздно. Но и раньше, в более благоприятной обстановке, не присоединился к Харчину Начика Машурин, потому что, видимо, не хотел рушить мир, скрепленный дружбой «огненного человека» — авачха Владимира Атласова и родника своего — верховного тойона долины древней Уйкоаль — Ивара Азидама. Не захотел, несмотря на обиды и притеснения казаков. Закаленный в боях воин, потомок Божоша, — о подвигах которого слагались на Камчатке легенды...

Значит, были у Начики основания не принять бунт и отказать Голгочу в помощи. Тот в ответ, гневно сверкнув глазами и скрипнув зубами, выплюнул: «Трус!». На лице тойона Начики не дрогнул ни один мускул. Он ждал этих слов. Знал, что Голгоч не сможет понять

его. А сам хорошо понимал тойона-бунтаря. Не будет ему прощения от казаков. Он обречен. Как обречено все это восстание. И не только в долине древней Уйкоаль. По всей Камчатке — от мыса Лопатки и до Парапольского дола, где только еще занимались от искр еловского пожарища новые костры.

Начика видел уже конец этого бунта — залитые кровью острожки, пепелища... В нем самом в тот момент боролись двое — воин и вождь. Победил вождь. Потому он молча смотрел на удалявшегося Голгоча, уходившего в бессмертие.

Бунт инородцев «в Камчатке» не прошел бесследно: он встревожил царицу Анну. В 1733 году на Камчатку из Якутска прибыла специальная следственная комиссия для выявления причин бунта и наказания виновных. Во главе ее был подполковник Василий Мерлин. Из Анадырской крепости прибыл к нему помощник майор Дмитрий Павлуцкий. Несколько лет кропотливо работала комиссия на Камчатке. Но уже 27 сентября 1731 года вождь острога Кунутпочичь Начика Машурин честно заявил и толмачи ительмен Чистяк и казак Иван Щитин перевели для писарей эту его «скаску» о причинах бунта.

«Чинятца нам обиды, — не щадил никого Начика Машурин, веря в справедливость и на нее уповая, — а именно от заказщиков Верхнем Камчадальском остроге повсягодно берут с нас неокладные тягосныя поборы ради своей корысти — сараны по пуду, кипрею по пуду да по баты, а ежели не кипрею и сараны нету, то берут лисицами и собольми, за бат по шти соболей и лисиц, а сараны нету, то берут по лисице, кипрею нету, то берут по лисице ж. Тако же берут и ягодами и юколою по три вязки и по четыре с человека, а ежели ягод и юколы не имеетца, то берут с нас последние куклянки и парки и собольные собаки. И от того приходим в последнюю нищету. А сего де 731 году приезжал к нам от закащика Василья Пашкова служилой человек Василей Новограбленной и сбирал де по Козыревской и по Толбачику и по Шапиной и у меня Начики в остроге Тополином и на Кырганике по бату и по пуду сараны да по чюману ягод, а у кого де не было батов и сараны и ягод, то де и кунным на Шапиной и по Козыревской реках.

Да сего ж 731 году был за юкольным сбором служилый человек Никита Дурынин с товарыщи при сборщике Андреяне Рюмине и брали юколы с каждого человека по три вязки, а кормами у нас сего против старого весьма недоход, не ведаем, как и зима нам будет прожить и ясак ея императорского величества добыть. А ежели и впредь будут такие поборы изличиша, то нам притти будет во всеконечную нищету...»

Так вот камчатские казаки приноровились решать на полуострове свои продовольственные проблемы, введя натуральный оброк для ительменов, требуя сараны, корни которой шли в пищу, кипрея, сладкой травы для вина, рыбы свежей и вяленой, мяса медведей, уток, гусей, ягоды...

Подполковник Мерлин жестоко наказал и русских приказчиков, виновных в бунте, и ительменов-повстанцев: повешены были для острастки и те и другие — ительменские вожди и камчатские приказчики, а потом еще под этими виселицами в каждом из трех казачьих острогов пороли кнутом правых и виноватых, усмиряя нравы.

Но казня одних, с другими Мерлин пытался обойтись ласково. Он понимал: если хочешь жить мирно в этой дикой воинственной стране, безбедно и безбоязненно, завоюй доброе расположение ительменской верхушки — тойонов, приблизь их к себе и отдали от народа — пусть властвуют сами, подчиняясь только лишь русскому приказчику. Потому-то Василий Мерлин с миром отпускает и назначает тойоном вместо Федора Харчина его брата Степана, тоже участника этого бунта. И по той же причине подполковник Мерлин становится крестным отцом одного из сильнейших вождей Камчатки тойона Начики Машурина — теперь христианина Егора Васильевича Мерлина.

Так зарождалась новая камчатская династия.

2. Ивашкин

«Мерлины принадлежат к очень старому камчадальскому роду, который ведет свое начало от одного древнего народного героя... Предком Мерлиных был Божош, знаменитый воин камчадальских легенд; далее один из Мерлиных победил и убил великого харчинского витязя и разбойника Гулгуча, угнетавшего всю страну».

Карл Дитмар, «Поездки и пребывание в Камчатке в 1851-1855 гг.»

Когда появился на свет отпрыск старинного дворянского рода Петр Ивашкин, то где-то на востоке, там, где восходит солнце, вспыхнула в небе яркая звезда. Крестил чадо царь Петр Великий. Благословляла на брак гвардейца-преображенца царица Анна Иоанновна. Любила отрока правительница Анна Леопольдовна... Целое созвездие благозвучных царских имен...

И все рухнуло, как это бывает лишь в кошмарном сне. Донос. Приговор за измену Елизавете Петровне. Кровавые полосы ран от кнутов на спине. Рваные ноздри. Сибирь. Верхнекамчатск — острог, который вместит в себя всю остальную его жизнь. Без остатка. До прощения, в котором уже не было здравого смысла: он, как соль в воде, растворился в шестидесяти годах ссылки. И нужен ли был едкий этот раствор девяностошестилетнему прапорщику Петру Матвеевичу Ивашкину? И стоило ли пытаться снова, как в молодости, вернуться в Россию, в свет? Чтобы умереть в дороге? Чтобы убедить кого-то, что и не был никогда ни в чем виноват? Что он жертва злого доноса? Шестьдесят лет грела эта мысль о справедливости. Но справедливость пришла слишком уж поздно — лишь на чуть-чуть опередила смерть.

Жизнь же была наполнена иным. Все эти долгие, бесконечно долгие, годы. Потому что для того, чтобы жить, нужно было или все забыть или забыться. Чтобы не обрушивался и не душил кошмар этого страшного сна, протяжением в целую жизнь.

Много лет он прожил среди камчадалов — долгую, основную, часть своей жизни. Срок значительный, чтобы полюбить по-настоящему, привязаться и понять, стать своим и навсегда.

Он хотел быть полезным. Сначала просто для того, чтобы чем-то заняться: трудно было поверить, что занятия с детьми камчадалов принесут кому-нибудь какую пользу. Потом увлекли. И стало уже необходимостью. Не может по-настоящему образованный человек превращать в камень собственные знания. Слишком тяжел такой груз для души...

Сначала «аз», «буки», «веди»... А потом — рассказы о самом разном — что, казалось, безнадежно забыл в этой таежной глуши в маленькой деревушке с засыпанным рвом и гнилыми стенами стародавней казачьей крепости с домами-развалюхами и балаганами, где валялись на солнце юкола, с ямами вонючей кислой рыбы и огромной разношерстной стаей камчатских ездовых собак... Кому нужны были здесь его знания?

Но сам же незаметно становился их проповедником. Он рассказал о великой стране — России. О тучных нивах. Морях золотого хлеба, вкус которого стал уже забывать. О сладких фруктах — таких крупных: с голову маленького ребенка. Росли они на деревьях, как те же шишки на кедраче или жимолость на кустах. Или об удивительных овощах, вроде того же гишпанского или французского картофеля, растущих в земле, совсем как морковка или редька, который он отведал за границей, — тот вообще, хоть и состоит из

клубеньков, ну, вроде, как сарана, вымахивает порой в добрых два, а то и три мужицких кулака.

И то, что где-то в такой же захудалой российской или французской деревеньке было известно младенцу, здесь, на Камчатке, превращалось в сказку. Может быть, его больше всего и любили за эти волшебные сказки. Ибо только истинная мудрость, как считали здесь старики, способна создавать такие необыкновенные истории.

Его любили. Как и он полюбил этот закабаленный, униженный, но благородный по чистоте чувств и помыслов народ с открытой детской душой.

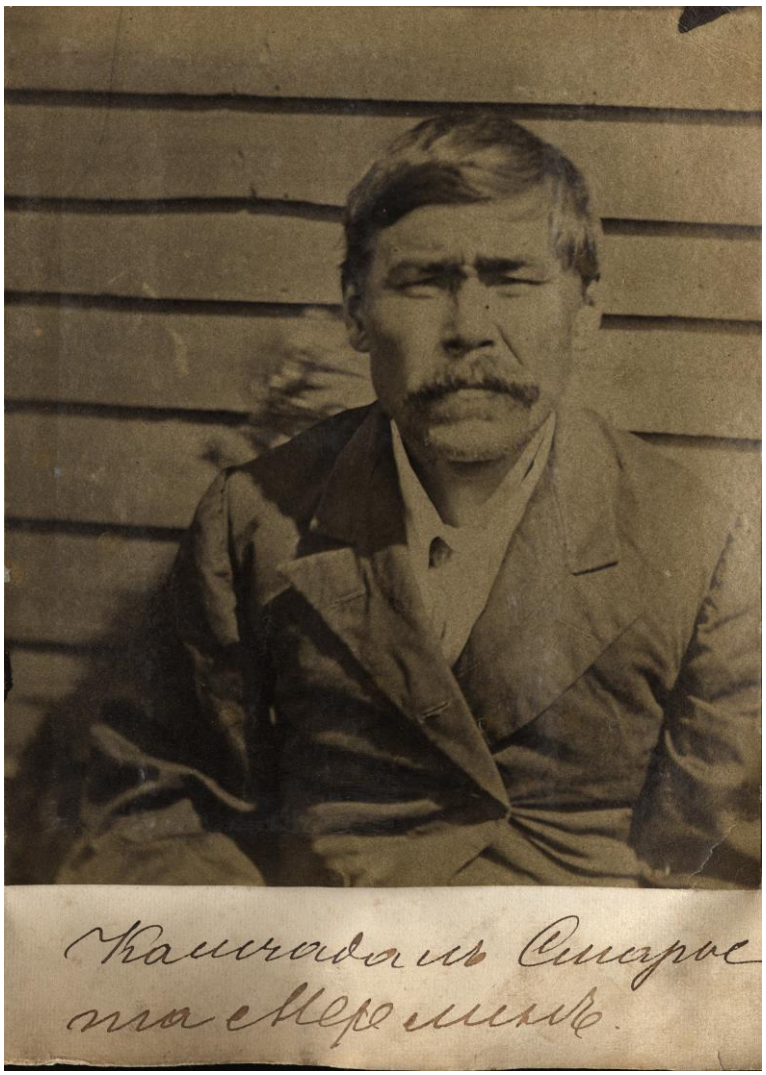
В тесной полутемной комнате, куда солнце с трудом пробивалось сквозь желтоватые высушенные и сшитые полоски медвежьих кишок, учил Ивашкин кареглазых мальчишек — как отпрысков знатных тойонов и есаулов, так и камчадальской рыбацкой и охотничьей черни — читать, писать, мыслить. И все последующие поколения камчадалов, внуки и правнуки учеников Матвеича, сохранили благодарность к седобородому старцу из Верхнекамчатска. Даже не подозревая при этом, что был он крестником царя Петра, того самого, чье желание создать великую Россию открыло русским дорогу в Камчатку и разорило ее народ. Его благославляла Анна Иоанновна, в царствование которой повешены камчатские бунтари. Он был любимцем матери царя Иоанна VI и жил в том мире, где от любви до ненависти всего один шаг. Они были наивны, как дети, — эти ительмены. Но их любовь нужно было заслужить. Он заслужил ее навечно.

Но истинная слава учителя в его учениках. В том же Мерлине (сыне тойона), которого начальник Камчатки Магнус фон Бем послал учителем в Большерецк. И в жены себе учитель-ительмен взял казачью дочь.

Здесь же, в Большерецке, тот же Бем в 1773 году впервые посадил в камчатскую землю гишпанский картофель, завезенный им из Прибалтики...

Так сказки Ивашкина становились былью и для его учеников, и их детей и внуков.

Сын большерецкого учителя Мерлина был назначен тойоном в Шаромы или, как сами жители называли село по обилию в округе кипрея (иван-чая), Дунат.



Из Альбома Бенедикта Дыбовского. Тойон Мерлин. 1860-е г.

В начале нашего века будущий президент Академии наук СССР В. Л. Комаров обнаружил интересную особенность в промысловом быте этого маленького ительменского поселения в верховьях реки Камчатки: оказывается, здесь издавна существовала... рыболовная артель. Только здесь и в соседнем селе Пущино. И более нигде на Камчатке.

«Из беседы с жителями Шаромы выяснилось, — писал ученый, — что они ставят запоры (приспособления для ловли лососей — С.В.) только на двух «реках» (протоках) Камчатки из трех, оставляя третью свободной для обеспечения рыбой пущинцев.

...Паев на девять шаромских хозяев установлено четырнадцать, и та семья, которая по очереди солит рыбу, в этот день получает отборную, вне очереди, т.е. делится на пай лишь рыба, не годная для солки, а годная поступает ежедневно в собственность одной лишь семьи. Обычай этот позволяет весьма быстро справиться с засолкой...»

Откуда он взялся, сей обычай в глухой деревушке, осталось невыясненным...

Но в остальном это была обыкновенная камчадальская деревня, столь же нищая и столь же темная, как и остальные камчадальские поселения в этой таежной глухомани, где веками все оставалось как было прежде и где самым большим изменением в жизни считалось приказание окружного начальника Сильницкого брать за проезд через Малую и Большую Клюквенные речки налог в 30 копеек за лошадь и 50 — за груженую нарту.

Тойон Мерлин получал деньги с большой торжественностью и удовольствием, словно это был самый большой праздник для него: почувствовать себя хоть на миг хозяином...

3. Копытин

«Шаромы... 9 домов этого поселения и небольшая часовня лежат у самого берега главной реки и вместе с тем у устья одноименной речки».

К. Дитмар, 1851-1855гг.

«9 шаромских хозяйств... низкие домики с маленькой, почерневшей от времени часовней».

В. Л. Комаров, 1909 г.



с. *Шаромы, начало XX столетия*

Мир потрясали революции. По стране огненным вихрем пронеслась гражданская. Березовым соком заполнялись корявые отросточки, острожки дальней окраины республики Советов, и забурлила в них новая жизнь.

А Шаромы — точно отломанная ветвь. Вокруг того же Милькова, старинного русского села — совсем рядышком, как улово, все кипит, а здесь — заводь тихая.

Потому и тихо, что делать, вроде как, нечего — ни богатеев в Шаромах, ни подкулачников каких — все голь перекатная. И потому будто и не коснулась их новая

жизнь. Как обвал в горах: где-то лавины льда и камня перемещались, обрушиваясь с вершины, а тут — только эхом обдало, да и то в полсилы, и затихло все. Надолго ли? Неведомо это шаромским жителям, да и не время им гадать-рассуждать, когда с одного бока рыбалка подпирает, а с другого — охота... Идут золотые камчатские денечки, и не зевай, чтобы с юколой успеть к сроку, заложить хайко в кислые ямы, заготовить в охотничьих шайбах на зиму рыбы и медвежатины, поменять по распоряжению начальства гнилые столбы на телеграфной линии, починить мосты, поправить обществом дорогу... Не оторвешься от дел, не переделаешь и враз, чтобы вот так, запросто, сесть и порассуждать о том, о сем... Хватало и всего того, что с амвона их часовенки мильковской поп обрушивал на Советы...

И вот наступил 1927 год.

...Александр Михайлович Копытин только в Шаромах, куда его распределил Петропавловский горрайоно, почувствовал, что земля под ногами твердая: после их пароходика «Нева» все казалось, что вздымается он на тихоокеанской волне или катится с нее неудержимо. Что там — считанные дни прошли, как выгрузились в порту, пожали руки однокурсникам из Хабаровского педучилища Тихону Семушкину, Петру Скорику, Анне Суховиловой, которые отправились дальше, на Чукотку; вот уже и распределились сами: он — сюда, в Шаромы, а жена — в Верхнекамчатск, по соседству. Потому и земля еще до сих пор под ногами качается, да и дорога сюда, в долину реки Камчатки, не лучше, чем океан в шторм. А скоро ли вообще она, земля камчатская, окрепнет под ногами? Неизвестно. Что-то не очень-то здесь привечают русского учителя. А вообще, кого они видели-то прежде здесь из русских? Купца, который приезжал за рухлядью — мягкой пушниной? Почто и верить им, каждому приезжему? Почто с душой открытой встречать? Сам покажись да откройся. И будет по заслугам твоим честь. Окрепнет земля под ногами.

Нужен ли ты им, Саша? Увидят ли они в тебе товарища и друга? Что ты им принес суда, в Шаромы? Ведь этого ничтожно мало — научить их только читать и писать. Слишком мало, если не видят люди в этом никакого смысла. Большого человеческого смысла. Когда знания — что тот самый гибкий шест, с помощью которого можно направить даже против течения по горной стремительной реке верткий тополовый бат. Когда они — глаза следопыта, изучающего тропы жизни на белых снегах книжных станиц и постигаюшего законы этой жизни. И когда поймет охотник и рыбак смысл этих знаний, то пойдет сам уже навстречу им — гордо, открыто, свободно, а не как сейчас — пугливо сторонясь: «однако, на сто нам грамотеска? Книской медведя не добудес, рыбку не поймаес, картоску — и ту не выкопаес... Уцили нас узе — по пять-сэсмь лет в одном классе, а все-равно позабыли всю грамотеску ту...»

Все же договорились — дети от семи до пятнадцати лет пусть ходят в школу. А старшие нужны в хозяйстве. Кто хочет — пусть по вечерам учится, коли желание такое появится.

Желание могло появиться у них только при одном условии — если увлечь чем-то молодых ребят. Чем — давно было уже ясно для Копытина — человеку становится по-настоящему интересно только тогда, когда он сопереживает это с кем-то, не глушит в самом себе, а выплескивает наружу, делится с другими, и вот тогда он получает настоящую радость...

И скоро Александр Копытин был уже не один — подружился с Афанасием Зиминым, Николаем Докучаевым и Алексеем Мерлиным. Это было ядро — снежный ком, пущенный с высокой сопки по сырому снегу прямо на Шаромы. И пошел он на лету расти-обрастать... В школе теперь не поместиться ни днем, ни вечером: взрослые тоже потянулись на «огонек». И пошло-поехало! До того дело дошло, что школьники своим

родителям консультации стали давать по важнейшим вопросам жизни. Так, например, в стране проводился заем на индустриализацию. В Шаромах слово и выговорить никто толком не мог, а о том, чтобы знать, что под ним кроется и вовсе не ведали. И об индустриализации в Шаромах узнавали от пионеров-пацанят. Как и многом другом. А потом и вовсе грех на душу приняли — отдали свою заброшенную часовенку — мильковского попа за агитацию против Советской власти посадили — под комсомольский клуб. Отдали — и струхнули. Вместе с самими комсомольцами: вдруг бог все же возьмет и накажет. На крышу — сшибать крест — пришлось лезть самому Копытину. И только тогда, когда на земле убедились, что Бог его милует (а может и взаправду нет его там, на небе!) полезли дружно помогать. И начала наяривать пила хрусткую песню. А там и вонзился крест черным от времени острием в землю. Охнуло эхо пугливо. Замерло сердце у стариков. Но было тихо вокруг. Только ворона кричала то ли сердито, то ли радостно — разве ее поймешь? — на голой еще тополине. И крест валялся себе, сорвав дерновину и обнажив жирную, парную по весне, шаромскую землю...

Весна же здесь...— где еще такую красивую на всей земле сыщешь!? Днем снег прямо на глазах, как свинец на огне, плавится, ночью — морозом в наст, ледяную корку, запекается. И лишь только обнажилась земля, хоть чуть-чуть! — тут же пошла зелень в рост: сегодня лишь кое-где с иголку еловую, а назавтра уже как щетка стоит муравушка и не разберешь, где какая травина прет; через неделю — зонтичные под самое солнышко упираются — им лишь бы повыше; полынь, как курица-наседка, кустится, а одуванчики — цыплята по обочинам дорожным разлетаются.

И денечки не только от солнца такие горячие стоят. Подходит самая первая рыба — чавыча, и теперь шаромцы от воды — никуда. Одна-две хозяйки, может, и ковыряются в огороде, но и то только до рунного хода рыбы. Лишь попрет нерка или хайко (кета) — все село, до самого древнего его жителя, на реке. Работа кипит в руках. Слаженная — любо-дорого поглядеть. Вот они — естественные основы для коллективного труда. Но пока только лишь основы. Трудно убедить людей, как ни стараешься, что по-другому уже пора хозяйствовать: на рыбалке держать только самых опытных — чего всем-то здесь делать, ведь управятся и так, а другие в это время могли бы заняться общественным огородом, скотину выкармливать на лугах и молоко, мясо в тот же Петропавловск продавать, куда народу сейчас для организации Акционерного Камчатского общества понаехало, — вон ведь какие земли здесь вокруг богатые, покосы — человека в траве не видать, хоть даже на коня его посади...

Нет, что ни говори, а будущее у этой земли видится и не в одной только рыбе и охоте оно... К земле шаромцев надо привязывать, учить землю эту любить по-настоящему, по-крестьянски, чтобы они, как те же русские переселенцы на Амур-батюшке, пробудили эту таежную глухомань к новой жизни...

Но попробуй переубеди стариков! Ну, ладно, их не переспоришь — главное, что молодежь, все-таки, хочет это понять, хотя и не представляет себе еще, как это они, особенно парни, в земле навозной будут возиться или коров пасти — смешно им. Стыдятся и думать: не мужская, дескать, работа. Но это пока до дела не дошло. А когда организуем здесь настоящий колхоз — появятся бригады рыбаков и охотников, полеводов и животноводов, тогда и выберет каждый себе работу по душе — ту, где именно он больше всех и нужен. И время само разъяснит тогда, кто прав был в этом споре.

А союзники в новом деле у него уже есть — те же супруги, активисты сельские, Иван Михайлович и Варвара Карповна Мерлины.

...И подняли же они все-таки это дело. Правда, без него уже, без Копытина. Пока он у ламутов школу-интернат в новом селе Эссо открывал, в Шаромах уже колхоз

организовали. И назвали его очень даже хорошо — «Новая деревня». Правильно назвали. В самую точку.

Многое по-новому тогда в селе стало. Это уже когда он заведующим горрайоно был и увидел, будучи здесь в командировках. И за полеводство, и за животноводство в Шаромах серьезно взялись. Сама Варвара Карповна возглавила дело, а она женщина серьезная. Себя не жалела и другим не спускала. И хозяйство шаромское, хоть и небольшое, но достаточно крепкое было. Эх, сюда бы тракторов... специалистов настоящих... Да где взять... Сам, вон, хотя и путевка была в Московский пединститут — без малого семнадцать лет не мог вырваться на материк и взяться за учебу. Ничего, будут, обязательно будут, новые Шаромы, коли об этом сам народ думает...

4. Мерлины

«...Шаромы: десятка полтора ветхих домишек, как попало разбросанных у реки. Рядом — небольшой скотник, простенький, без механизации, конечно; огород, рыбалка. Главная тягловая сила — лошадь, главная техника — старенький трактор с сенокосилкой. Да и с этим еле-еле управлялись 12 трудоспособных колхозников».

«Камчатская правда», 1960 год.

12 апреля 1960 года. Последнее колхозное собрание в Шаромах. За столом, по случаю накрытому красным сукном, сидят трое. Председатель колхоза Захар Иванович Мерлин. Бригадир животноводства Варвара Карповна Мерлина, мать Захара. И еще один, кого сейчас все с интересом разглядывают, новый директор будущего совхоза, который решено было организовать в Шаромах.

Захар Иванович встал, откашлялся. Зачем-то постучал карандашом по графину с водой, хотя была абсолютная тишина. Точно смущаясь, еще раз откашлялся в кулак, а какое смущение, когда были здесь все свои, а среди них — восемь кровных братьев, сестра, мать... Нет, не от смущения происходило это все с Захаром Ивановичем...

Валентин Мерлин, будущий летописец Шаром, записывал тогда в блокнот эту речь старшего брата.

— Товарищи! — начал Захар Иванович. — Наш колхоз был организован в 1933 году. На первом собрании председателем был избран мой отец. Прошло двадцать семь лет. Мне выпало проводить последнее колхозное собрание. Немного грустно. Были у нас большие трудности, но были и радости. Мы всегда жили одной дружной семьей — Мерлины, Зимины, Пановы, Атласовы, Докучаевы, Заочные, Чирковы, Возмищевы...

Но маломощный колхоз не в состоянии добиться быстрого развития сельского хозяйства на родной земле. Нам надо принять решение о ликвидации колхоза и передаче хозяйства новому совхозу...

Голосовали единогласно — вопрос этот давно уже был для каждого решенным.

Новый директор совхоза — Павел Антонович Дерий — был немногословен:

— Решение правильное. Сегодня речь должна идти о крупном специализированном хозяйстве, и со строительства нашего совхоза начнется освоение целинных и залежных земель Камчатки.

Что толку, что вы варились в собственном соку. Картошки выращивали с гулькин нос. Да и куда ее везти по бездорожью? К вам с Мильково за шестьдесят километров и то не проедешь — вон, трактора оттуда даже зерно не смогли завезти, бросили его на

базе дорожников в шестнадцати километрах от села и теперь до зимы уже: сможем вывезти зерно только на собаках... А молока от ваших двадцати двух с половиной коровенок? И куда его? Если только самим выпить? И то лишнее: у каждого дома своя коровенка имеется. И к чему же мы, граждане дорогие, приходим? К тому, что и было у вас всегда — исстари — охоте да рыбалке. Как кормились промыслами и с промыслов, так при них и остались...

А почему? Ну, война, понятно, — она карты нам всем здорово смешала. А вообще!?

А вообще, дорогие товарищи, дорога нам позарез нужна — и на Мильково, и на Петропавловск... Тогда ни картофель, ни молоко, ни сливки, ни масло, ни мясо у нас не залежатся.

Вон, как в Елизовском районе, где дорог полно — благодать. Сам в совхозе «Камчатском» парторгом был — видел и знаю. И людей нам надо, чтобы было кому новое дело ворочать — одним нам с вами здесь не управиться... Строить будем... Скот купим... Технику приобретем... Дворцов вам здесь понастроим, — раздухарился директор...

— Школа нам нужна, — тихо сказал кто-то и с переднего ряда поднялся невысокий черноволосый паренек со строгими внимательными глазами. В отличие от всех, одетых хотя и чисто, но по рабочему, он был в костюме и при галстуке, с комсомольским значком на лацкане пиджака. Это и был Валентин Мерлин — первый шаромский учитель из уроженцев села. — Затеяно большое дело. Будет создаваться совхоз. Но ведь любое хозяйство начинается со школы. Приедут сюда с детьми, а у нас только четыре класса. В мильковский интернат не каждый своего ребенка отдаст, и уедут люди обратно. Дело затеяно большое и ошибиться здесь нельзя. Это будет не по-государственному. А останутся, детей поднимут — какая же птица от своего гнезда улетает...

— Будет тебе белка, будет и свисток, — отшутился директор. — А пока приедут такие же, как и ты — с пухом вместо усов, им где-то жить надо будет, а не детей учить... Скота прибавится — где размещать... Технику пригоним — куда ее деть прикажешь?... Так что, ты уж повремени со школой, учитель. Все у нас будет — дай только срок!

А теперь предлагаю назвать наш будущий совхоз в честь старинного казачьего острога в здешних местах, с которого и начинала строиться русская Камчатка, «Верхнекамчатским».

И закрутилось колесо. Работы было невпроворот. Но такие уж они, шаромцы, особенно из этой, мерлинской, ветви, что не боятся никакой работы — главное для них то, что это все для людей делается, и тогда не считаются они с собой и со временем. И стучал своим топориком от зари до зари плотник Карп Мерлин и к 1961 году в совхозе уже было построено 15 жилых домов, электростанция, столовая, пекарня...

Купили скот — стало уже три группы коров, новую группу приняла молодая доярка Вера Мерлина.

За первой техникой — получили ХТЗ-7 — отправились в Петропавловск Виктор Мерлин и один из первых, кто откликнулся на комсомольский призыв строить новый совхоз, Анатолий Киселев. Полмесяца гнали они трактора по набитой лошадьми тропе. В тот же год приступили и к первой пахоте, поднимая целинные земли, пока еще не тревожа тайгу-матушку: на многочисленных небольших полянках-пятачках, готовя землю под картофель, морковь и кормовые культуры — всего четырнадцать гектаров...

Следующую партию тракторов и машин гнали уже в Шаромы зимой чуть не целый месяц, в последнюю неделю — без единой крошки хлеба во рту, теряя сознание от голода; последний день — пешком, бросив технику в верховьях реки Камчатки — кончилось топливо — по сорокоградусному морозу, практически без сил — новые трактора принимали шаромские трактористы Борис, Генадий и Владимир Мерлины.

В ту же зиму рядом с селом заложили аэродром, и прибыли на «аннушках» первые из числа тех, кто откликнулся на призыв комсомола строить новый совхоз в глуши далекого полуострова. Принимал новое пополнение инспектор по кадрам Захар Иванович Мерлин. Скоро в его сейфе хранилось уже более пятидесяти трудовых книжек.

Летом из соседнего Елизовского района пригнали телят — это в хозяйство мастера по выпасу и откорму скота Рюрика Мерлина.

Совхоз уже не только брал от государства, но и начал отдавать: в 1961 году было продано 58 тонн картофеля, 40 тонн овощей, 40 тонн мяса...

Но основное направление развития совхоза к тому времени еще не определилось и потому главным становилось то одно, то другое, то третье. Дороги по-прежнему не было, а от возможности своевременно вывезти и реализовать продукцию зависело практически все.

Не знали, строить ли новые животноводческие фермы: коровы теснились на старом, еще колхозном, коровнике... Никто не мог сказать определенно, будут ли нужны откормочные площадки — и телята, которых с таким трудом перегнали через Срединный хребет и ганальскую топь, жили во времянке, крытой соломой, которую они же и съедали за долгую и голодную шаромскую зиму... Кормов много не заготавливали и их еле хватало до весны, точнее до той поры, когда снег только-только оголит вершины сопочек, и телят, тощих, мослатых в навозной коросте, выгоняли на пастбища по логотинкам. Но там уже бродили голодные, только поднявшиеся из берлог, медведи и гоняли этих самых телят так, что пастухи только и успевали подсчитывать потери: в одну весну погибло сразу 23 теленка... Ни о каких привесах речь даже и не шла — зимой и весной боролись только за то, чтобы спасти молодняк.

Кадры в таком совхозе не держались. Да и кто будет задерживаться в селе, где тебе ни детей не выучить в завалюхе-школе, крытой корьем, да и самому ни заработков, ни определенности, ни благодарности за этот каторжный труд что в поле, что на ферме, где ни механизации, ни чего другого — только лишь твои собственные мозолистые натруженные, ноющие по ночам, руки...

К тому времени, когда, наконец, это направление развития совхоза начало определяться и формироваться, вернулся в Шаромы после окончания Уссурийского сельскохозяйственного института первый инженер-механик из уроженцев Шаром Виктор Иванович Мерлин, назначенный инженером по трудоемким процессам. Толковый был инженер — с него и начинается эра механизации в совхозе: как раз к этому времени закончили строительство новых животноводческих ферм. Здесь был полностью ликвидирован ручной труд — поставили кормовые и навозоуборочные транспортеры, раздаточные линии, автопоилки...

В те же годы шаромцы избирают своего учителя Валентина Ивановича Мерлина председателем поселкового совета.

Девять лет уже прошло с той поры, когда учитель Мерлин впервые поставил вопрос о строительстве новой школы. Все понимали, что нужна новая школа, но руки до ее строительства так и не дошли. А Мерлин был прав — ведь из тех, кто прибыл в совхоз по велению своего комсомольского сердца, почему совхоз в феврале 1962 года и получил свое новое имя «Комсомольский», — остались в Шаромах лишь Анатолий Киселев, Анна Костенко, Александр Бусаров, Анатолий Головня, Василий Куцевич — вопрос о школе был вопросом о существовании самого совхоза — именно так, по-гамлетовски, быть или не быть.

Мэр Мерлин умел зажигать и организовывать людей — провели несколько комсомольских субботников и в селе появилась своя восьмилетка, переоборудованная

из старого общежития. Затем построили сельский клуб, комбинат бытового обслуживания — Мерлин умел доказывать и обосновывать необходимость того, что нужно людям в его родном селе. Скоро появился и первый двухэтажный жилой дом со всеми коммунальными удобствами. И словно второе дыхание открылось у совхоза — потянулись сюда люди из самых разных мест. Пробили и дорогу.

В ноябре 1970 года Валентин Иванович Мерлин, председатель поселкового совета из камчатской таежной глубинки представлял Камчатку на Втором Всесоюзном совещании председателей исполкомов сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся, которое проходило в Большом Кремлевском дворце Съездов.

В 1971 году за свой большой труд по преобразованию родного села Валентин Иванович был награжден орденом «Знак Почета».

В 1973 году он возвращается в школу — теперь уже директором восьмилетней школы. Он возвращается, потому что считал прежде и так считает теперь, когда со строительством дороги, связавшей Шаромы с районным и областным центрами, открылись перед поселком большие перспективы, что сердце хозяйства именно здесь, в школе, где создается будущее.



Семья Мерлиных, лето 1972 г., с. Шаромы (стоят слева направо: Валентин Иванович, Виктор Иванович, Рурий Иванович, Владимир Иванович; сидят: Антонина (внучка), Варвара Карповна, Сергей (внук), Любовь (жена Владимира), Захар Иванович)

И он снова был прав: вон, сколько его бывших учеников работает сегодня в совхозе — слесарь Евгений Возмищев, воспитатель детского сада Евгения Толстихина, повар Людмила Лапшина, шофер Андрей Егоров, рабочий Николай Панов... Закончил лесотехнический техникум и работает рядом, в лесхозе, Николай Сасин. Заслуженным киномехаником РСФСР стала старший киномеханик СДК Раиса Собко.

А совхоз в эти годы, действительно, стремительно пошел вперед. В1972 году в «Комсомольском» собрали просто неслыханный урожай картофеля и моркови. Рекорд — 148 центнеров с гектара картофеля и 209 — моркови — не побит здесь и по сей день. Бригадир овощеводческой бригады М.Н. Лелеков был награжден орденом Трудового Красного Знамени, звеньевой картофельного звена Владимир Мерлин (ему тогда было 26 лет) — орденом Ленина.



Председатель Шаромского сельского совета Валентин Иванович Мерлин

В те годы совхоз «Комсомольский» — это 6055 гектаров пашни (вспомните те 14 гектаров и 5 — колхозных в 1961 году!). В 1962 году, когда совхоз получил свое имя, было поднято уже более 150 гектаров пашни. Поголовье крупного рогатого скота с 1962 по 1985 года увеличилось с 444 голов до 4587, мяса совхоз стал сдавать государству в 20 с лишним раз больше. Было тогда 12 тракторов и 7 машин — стало 56 и 42, плюс три автобуса. В 1962 году в совхозе работало 57 человек, стало — 504. Основные фонды совхоза увеличились с 548,3 тысяч рублей до 31 миллиона 527 тысяч.

И в эти же годы писал шаромский поэт Валентин Мерлин:

Шаромы — село молодое
В долине синеющих гор.
Дома, этажами сверкая,
Глядят на зеленый простор.
Дорога широкою лентой
Сквозь лес, мимо горных вершин
Зимою несется и летом
Навстречу колоннам машин.
Земля велика, и прекрасны
Края там, где розы цветут,
Но ближе, дороже и краше
Тот край, где взрастает твой труд.